

# Стекло

**Автор:**

Тим Скоренко

Стекло

Тим Юрьевич Скоренко

Мастера интеллектуальной фантастики

Стекло нельзя ни обработать, ни уничтожить. До него нельзя даже дотронуться, поскольку прикосновение к Стеклу превращает всё живое в Стекло. Но у Стекла есть источник – таинственное место на севере, откуда оно медленно расползается, захватывая всё бо?льшую и бо?льшую территорию.

Тринадцать человек – неудачников, изгоев, преступников, искателей приключений – идут к источнику через снежную пустыню, и каждый несёт свой крест, свою историю. Пересекаясь, эти истории сплетаются в причудливую сеть, охватывающую десятки судеб, городов, поколений и времён. А возглавляет экспедицию таинственный Проводник – то ли Мессия, то ли искусный мошенник, то ли и тот и другой одновременно.

Тим Скоренко

Стекло

© Тим Скоренко, текст, 2021

© ООО «Издательство АСТ», 2021

## 1. На краю весны

Пыхтя, тяжело дыша сквозь маску, непривычно же ещё, сколько времени-то не носил, Тыкулча выходит в первый шлюз. Разворачивается, тщательно запаковывает дверь, вталкивает её в разбухший проём, распахивает по щелям ватные комки, паклю, мох, даже какие-то огрызки поролона, откуда он тут, непонятно. Берёт из угла ведро со смолой, промазывает поверхность, аккуратно, не торопясь. В камере тепло, вода ещё вода, разве что корочка на ней, и холоднее не станет; у Тыкулчи два часа до предрассвета, времени хватит на всё. Ещё же огонь на стоке разводить, тоже мне радость.

Закончив, он пыхтит, трёт лоб и распечатывает дверь второй камеры – толстую, деревянную, двухслойную, с воздушной подушкой между промасленными досками. Разрезает застывшую смолу ножом, с трудом, смола тянет, вяжет, лезвие соскальзывает, Тыкулча усердно сопит, он сосредоточен и зол. Нельзя быть добрым, пойдешь на секунду, и затянет тебя, заохладит, заснешь – станешь если не Стеклом, так льдом, а какая, по сути, разница, смерть и есть смерть, так что злись, злись. Тянет за деревянную рукоять, вырывает дверь, вытаскивает из законопаченного проёма. На него дышит холодом – за дверью, в камере, много холоднее, была бы влага – были бы сосульки. Шесть месяцев никто не проходил второй шлюз, никто не проверял, как там внешняя дверь – может быть всё что угодно. Может, туда пробралась вода, принесся с собой лёд, и всё, наружную дверь можно только разрубить, никаких других путей, бери топор, ломай построенное. Или приморозило так, что и топор не поможет, тем более снаружи шесть метров снега, будешь сидеть тут до поры, пока второй разведчик не забеспокоится и не выйдет из своего схрона. А это недели две, не меньше, и если охота уже началась, то стан опоздает, задержится, не успеет подготовиться к следующей зиме. Ну, то есть успеет, но на пределе, впахивая ежедневно, впрягая стариков и детей.

Всё в порядке. Тут холодно и сухо. Фонарь Тыкулчи горит ярко, кажется даже, что тепло, хотя на самом деле зима уже пробирается внутрь, но это зима такая, ненастоящая, преследуемая весной. Ещё пару месяцев назад в третьей камере было нельзя дышать – вдохнешь, и всё, нет у тебя лёгких, кровь выпархивает и падает на землю льдинками или на бороде оседает. Забудешь тут вещь – пиши пропало, через час нет её, только видимость одна. Старик один как-то очки забыл, стальные дужки, шлифованные линзы, потом взял, а они и рассыпались прямо под рукой, как будто из песка, только белого. А если наружная дверь плохо законопачена, то и вовсе можно в Стекло превратиться, и только смотреть

тогда остаётся, дотрагиваться нельзя, потому что кто коснётся Стекла, тот Стеклом станет. Что зимой, что весной к Стеклу – ни-ни.

Тыкулча звенит кошками, выволакивая снаряжение во внешний шлюз, и запаковывает третью дверь – так же, как и вторую, аккуратно, методично, не торопясь, а то не сделаешь как надо, возвращаться будет некуда. Щёки Тыкулчи уже смазаны жиром, меха топорщатся, только верхонки расстёгнуты, потому что работать в них нельзя, они не гнутся. Он вдыхает полной грудью – как он соскучился по этому холоду, по этому воздуху – настоящему, не пропитанному очажной гарью. Снаружи так вдохнуть не получится – зима ещё до конца не ушла, поэтому надо надышаться здесь.

Наконец он открывает внешнюю дверь – с трудом, вырывая из проёма. За ней – белая стена слежавшегося снега, бесконечность вверх, и потом – тепло; когда бы не было снега, зимой бы не выжить, никакие тамбуры, никакие шлюзы, всё тлен перед Стеклом. Тыкулча протягивает руку и вытаскивает из-за верхней части проёма деревянную рукоять, что-то вроде рычага. Он повисает на нём, как на турнике, раздаётся скрип, и рычаг идёт вниз – сперва медленно, а затем быстрее и быстрее, трётся дерево о дерево, перемещаются какие-то детали, что-то визжит и шуршит, и внезапно белая стена превращается в рыхлое месиво – а потом обваливается куда-то, будто Тыкулча едет в лифте, движущемся мимо неё наверх. Он дотягивает рычаг до самого порога, разгибается и делает шаг вперёд, в белоснежное ничто. Весь снежный покров перед дверью обвалился в заготовленную заранее яму: механизм открыл её, сдвинув люк и вонзив в наст дробящие колья, а затем накрыл этим же люком сверху. Справа от выхода приторочена лестница. Тыкулча берёт её, приставляет к стене снежной комнаты и поднимается наверх. Внешнюю дверь он просто прикрывает, не заштамповывая.

Март, солнца нет, но облака белые, светлые, вокруг нестерпимо ярко. Борода мгновенно покрывается инеем, иней превращается в ледышки, ресницы и брови белеют, дыхание цокает о наст, застывая в воздухе. Тыкулча надевает очки – похорошему, без них и выходить-то нельзя, но он любит сначала посмотреть на белизну, подслепнуть, попривыкнуть и только потом затемнить мир вокруг. Он улыбается, смотрит на стан, на тёмные вешки, обозначающие, где под снежным покровом прячутся жилища, и на узкую иглу смотровой башни. Староста поднимется на неё позже, по возвращении Тыкулчи, чтобы обозначить начало охоты.

Тыкулча идёт по снегу, хрусть-хрусть, он никогда и ни за что не обменяет это ощущение на бесконечное лето, даже если явится некто ответственный за мир и предложит ему, Тыкулче, бартер. Он спускается к первому стоку – снежный покров постепенно снижается, Тыкулча врезается кошками в наст и аккуратно добирается до скалы, чёрная поверхность которой – единственное здесь, что не снег, не лёд, не Стекло. Тыкулча дотрагивается до камня, потом стягивает обе перчатки – и верхонку, и внутреннюю, и касается тьмы ещё раз – руку прожигает, но он знает, сколько можно держать, сколько нельзя. Дети часто обжигаются весной – в основном о камни, хотя бывает, что и о сталь, если кто-то догадается оставить предметы обихода снаружи.

В скале отверстие – едва заметное, выдолбленная вертикальная трубка, кто не знает, никогда не найдёт. Тыкулча достаёт из кармана скатку пеллетов, крошечную, с детский кулачок, и огниво. Высекает искру, поджигает пеллеты – те загораются сразу, они пропитаны смолой, заготовлены. Он бросает горящий комок в отверстие, отбивает огонь с перчатки о куртку. Проходит десять секунд, двадцать, тридцать – и из отверстия бьёт факел, всё в порядке, ничего не слежалось, не смёрзлось, не намокло, огонь есть жизнь, и в то же время огонь есть жизнь, он горит где-то внизу, чадит чуть-чуть, потому что смола, а Тыкулча уже бредёт к другому концу стана, к следующему стоку.

Всего стоков пять, у каждого – по огню. Пока Тыкулча будет идти к первому схрону, огни подтопят снежный покров снизу, сожрут его на пару человеческих ростов, не меньше, а остальное нетрудно и лопатами разнять, разнести, и через неделю стан освободится. Тепло – это ещё и сигнал для становых, если пошло, то разведчик проснулся и всё правильно сделал, от первого тепла нужно отсчитать три дня – и можно выходить.

Он обходит стоки за час. Уже устал, и до ночи три часа всего, но нужно сегодня дойти до первого схрона – он близко, в часе всего, если быстро идти, и вот тут не каждый выдержит, кто угодно сдуется, вернётся, скажет себе: завтра утром выйду, хватит пока. Но нельзя, нельзя, Тыкулча каждый год продирается через это нежелание, выталкивает его из себя, прочь, прочь.

Вот он готов. Солнце высоко, хотя его и не видно, просто белое небо, бесконечная пустота. Тыкулча обвешан снаряжением, провизией – идти семь дней, день – схрон – день – схрон, и так до восьмого. Оттуда ещё час до Стеклянного Великана, и там – посчитать ветви, сколько очистилось уже, если за десять, так и весна уже, можно идти обратно, охота хорошая будет. Если

меньше, надо дожидаться, сколько дней ещё, пять, семь, девять. Но Тыкулча ждал только в свою первую разведку, двадцать уж зим тому, а нынче он опытный и всегда попадает точь-в-точь.

Он идёт. Хрустит под ногами наст, морозный воздух ест кожу, хотя Тыкулча замотан сверху донизу, шарф закрывает щёки, на глазах очки с мехом, мембрана, мех, мембрана, мех, слой за слоем защищают тело, щёки намазаны жиром, унты разношенные, удобные, греют ноги так, будто в них разведен огонь. Позади пылают камни, из стоков появляются первые капли, снежный покров постепенно расплзается, и к возвращению Тыкулчу встретят галдящие дети, черпая воду из проталин и с хохотом поливая друг друга.

Пейзаж-то какой, смотри – не насмотришься, да откуда ты и слово такое знаешь, «пейзаж», его произнести сложно, а пришло же откуда-то в язык, доползло с юга и осталось тут навсегда. Белизна вокруг, белизна, что вверху, что внизу, и даже полоска горизонта порой становится невидимой, сливая небо и землю воедино. Тыкулча знает все вешки, все ориентиры, все меточки, никогда он не заблудится; иному покажется, что нет ничего, помимо этого белого, но разведчик знает, куда смотреть, вот веточка, да не веточка, а каменный отросток, он всегда из-под снега тут торчит, а вот провал в снежной равнине – там вода внизу, подтаивать уже начало и просело.

А вот стеклянная статуя. Это старик Адиуль ушёл в зиму – давно уж, Тыкулча ещё ребёнком был. Помнит, как Адиуль прощался, как обнимал каждого станового, как плакала его дочь, и как Адиуль пошёл прочь. Стояла уж поздняя осень, и до ночи оставалось всего полтора часа, докуда Адиуль дошёл, там и встал навсегда, указывая морщинистым пальцем в верном направлении. Он-то знал, куда указывать, даром что сорок лет был разведчиком, понимал, где провал в вешках, где не хватает, и встал там – на камне, чтобы не уйти в снег. Тыкулча, как доходит до Адиуля, каждый раз даёт ему что-нибудь, аккуратно, чтобы не прикоснуться к Стекло. Вешает амулет на руку, или витую нить на шею, или даже как-то лапшой угостил, оставив её в другой руке, которая вниз указывает. А когда возвращаешься – нет уже ничего, или Стеклом стало, или ветром смело, поди пойми.

Первый схрон совсем близко, потому что знали, что разведчик ещё должен успеть стоки растопить. Дотуда даже старики порой доползали – так, на белое посмотреть, посидеть в тишине, чтобы никто не бегал, не галдел, не просил ничего. Иногда женщины детей приводили – показать, что там, на севере,

откуда зима приходит. Но не сейчас – сейчас Тыкулча тут один, и никого тут больше быть не может, вся эта необъятная пустота, вся эта бесконечность – его личная, ничья больше, и так хочется сорвать маску и задышать, задышать, во всё горло впуская инистый воздух, что не вмоготу. Тыкулча чертыхается – тихо и с улыбкой, потому что это такая любовь, такая красота, какой никто, кроме разведчика, не чувствует.

Полтора часа ходу – до ночи далеко, и Тыкулча уже у схрона. Тот обозначен башенкой, вот уж что крепкое и неизменное. Схрон – не вешка, сориентироваться можно и по небу, и по свету, и по запаху, а коли схрон потеряешь, так уже не серчай, а встань в позу, чтобы самому вешкой быть для последующих. Тыкулча копается у башенки и через несколько минут находит рукоять – такую, какая и дома была, только теперь её вверх надо тянуть, встав сбоку. Снег проваливается в образовавшуюся яму, освобождаются стена и дверь – маленькая, Тыкулче едва ли по плечо, не выше.

Тыкулча легко спускается, даже почти съезжает в яму, её чуть приваливает снегом с края. Замка нет, но дверь законопачена, залита смолой, закрыта намертво, без доброго ножа никак не вскрыешь. Тыкулча трудится – разрезает смолы, раздирает мхи, вырывает куски какого-то непонятного дёрна – что это вообще, неужели это я закрывал? А, да, это медвежья шкура, точно, вот какие-то обрывки меха, зачем я это сделал, под конец лета всегда мозги поотшибает, хорошо хоть дерьмом не догадался закрепить. А то было и такое, держит крепко, промерзает, только вот по весне в схроне жить невозможно, где-то какие-то остатки попадают, и воняет так, что в округе зверидохнут. Он рвёт дверь на себя, открывает, пробирается в первую камеру, зажигает фонарь. Это обратный порядок: в начале осени ты закрываешь сперва схроны снаружи, а затем уж дверь дома – изнутри; весной открываешь дверь дома, а потом – схроны. По сути одно и то же, и если закрыть глаза, то можно представить, что это не весна, а осень, и зима надвигается, у тебя в руках тот же самый мох, верхонки измараны смолой, только зачем, зачем такое представлять – нужно жить тем, что есть, и радоваться тому, что можно выйти, и вдохнуть, и не стать Стеклом.

Тыкулча проходит вторую дверь и третью – и вот он в схроне. Это не стан, тут комната всего одна, маленькая, с двумя скамьями, столом, стулом и полками, на которых – запасы: еда, вода, топливо, охотничьи принадлежности, одеяла, всё самое необходимое. Первым делом надо протопить: Тыкулча подносит огниво к трубке у печи, цокает раз, другой, и вот по трубке уже идёт огонь, и резко

вспыхивают заготовленные ещё с зимы пеллеты, сразу, буквально в секунду, расходится по схрону жар, а Тыкулча тем временем запечатывает двери, от внешней к внутренней, тщательно, аккуратно, почти что как на зиму, только без смолы, потому что воздух уже живой, даже ночью Стеклом за секунду не станешь, а пока до схрона доберётся, и вовсе согреется так, что им дышать и можно, и приятно. Как двери закрыты, огонь горит, Тыкулча раздевается, разоблачается, стягивает верхонки, хокуй, унты, под хокуем термомембрана, он расстёгивает её, но не снимает, замёрзнешь ночью, даже при огне будет облачко пара изо рта, холодно пока, холодно. Берёт сушёное мясо, чай, ягоды, олений мох, вешает котелок, строгаёт туда всё подряд, подогревает, не варит, схрон наполняется запахом еды, жизнью.

Тыкулча ест немного, живот не набьёшь – и нечем, и незачем, завтра идти дальше, четыре часа до второго схрона, каждый последующий дальше предыдущего, хотя нет, после пятого они уже на равных расстояниях, так разметили отцы. После еды надо завернуться во все слои, какие есть, и лечь у огня, и заснуть так, чтобы не просыпаться ночью, потому что проснёшься в холоде, заснуть труднее будет, а огонь не спасёт, он с пуза согреет, а со спины дубар будет, окочуриться впору, так что кутайся, кутайся, Тыкулча, да что тебе говорить, ты и сам знаешь. И он кутается, запаковывается, как будто он и есть дверь, и щели законопачивает, и ложится лицом к огню на бок, и через несколько минут уже спит.

Разведчик – не просто смелый и умелый, в стане все смелые и умелые. Разведчик должен быть странным, любить одиночество, чтобы никто ему не был нужен, чтобы он мог ни о чём не думать, чтобы он со скуки не помер, по две трети дня в схронах сидя. Тут нужен особый склад ума иметь.

И Тыкулча спит – он не видит никаких снов, он уже давно не видит никаких снов, с той поры ещё, как был женат, а было это тридцать с лишним лет назад, у него тогда был сын, которого он видел всего несколько раз, но это другая, конечно, история, просто во сне сын, этот вечный младенец, мог бы приходить к нему, мог бы укоризненно смотреть в блеклые отцовские глаза – но тут Тыкулче повезло. Ничто не мучит его, никто не трогает его снов, ни мать, умершая, когда он был ребёнком, ни жена, ушедшая вместе с сыном, ни те, кто надеялся на него, а он их подвёл. Много лет назад, когда Тыкулча только начал ходить в разведку, он нашёл в третьем схроне живого. Кто знает, как он продержался – законопатил все двери, залёг там и пролежал все месяцы на одном месте, не вставая даже для того, чтобы сходить в туалет – испражнения и моча грели, еды едва хватило,

но хватило, и он выжил, пусть и сошёл с ума. Тыкулча отволол его в стан (потеряв на этом два дня), и там его выходили, только дар речи он потерял, всё бродил по стану, мыкая, бекая, а потом, следующей зимой, ушёл в никуда и пропал, стал Стеклом где-то в неизвестности, не принеся никому пользы. Откуда был тот человек, кто он, как добрался до схрона, так и не выяснили – но Тыкулча понимал одно: человек пришёл в схрон поздней осенью, когда ещё можно было прийти, значит, задержись Тыкулча – а разведчик последним возвращался в стан – на день, на два, он мог бы спасти его от безумия. Ему не было жалко человека, просто он сознавал, что не сделал того, что мог бы сделать.

Этот человек, имени ему так никто и не дал, тоже не приходит к Тыкулче во сне. Хорошо спать и видеть тьму или ничего не видеть – такой сон в какой-то мере репетиция смерти, а значит, и умирать будет легко, всё равно придётся, рано или поздно, лечь в снег или встать с вытянутой рукой в зимнем мареве и обратиться в Стекло, в Стекло.

Он просыпается в самое правильное время: огонь горит, но в схроне – дальше, чем метр от огня – прохладно, нет, не холодно, а именно прохладно, и Тыкулча чуть-чуть улыбается: всё хорошо, он не ошибся, в который уж раз, весна близко, а то и уже здесь, надвигается, наползает. Он отходит по надобностям, потом разогревает еду, ест, собирается, распаковывает двери, проходит два шлюза и выползает наружу. Всё, как вчера, только здесь, у первого схрона, на севере, точно так же холодно, как вчера было у стана, а значит – у стана уже теплее, движется, движется мир к весне. Скоро и ночью можно будет выходить, не опасаясь стать Стеклом. Но пока он идёт днём, идёт от схрона к схрону, по четыре-пять-шесть часов, и эти шесть уже – риск, потому что чуть замешкаешься, и опустится ночь, и холод, и воздух охватит тебя, замкнёт, обездвижит, обесцветит, будь Стеклом, милый мальчик, ты так весел, будь Стеклом. Откуда, откуда Тыкулча помнит эти строки, так светла твоя улыбка, это из детского стишка, который рассказывал ему то ли отец, то ли дядя, они оба путаются в голове, остался только второй, Аксик, высокий и сердитый. Стишок ритмично тренькает в голове, пока Тыкулча идёт по насту, ты не знаешь, ты не знаешь, дальше что-то там про скрипку, хотя он никогда не видел скрипку и представить себе не может, что это такое, возможно, что-то похожее на пургипкавун или билгау, в общем, неважно, музыкальный инструмент.

Тыкулча идёт, идёт, идёт, приходит ко второму схрону, распечатывает, запечатывает, ест, ночует, ест, распечатывает, запечатывает, идёт к третьему схрону, распечатывает, запечатывает, ест, ночует, ест, распечатывает – и так

четвёртый, пятый, шестой, Господи, если ты есть, как ты терпишь это однообразие, седьмой, восьмой – это восемь дней пути, и каждый раз Тыкулча боится одного: он пришёл слишком рано. Ты приходишь к схрону и не знаешь, хватит ли весны для того, чтобы пережить ночь; ты ложишься спать, будучи уверенным в том, что завтра ты не проснёшься, что ты станешь Стеклом – но когда просыпаешься, ты радуешься этому чуду.

Восьмой схрон большой – он как перевалочная база для охотников. Когда-нибудь Стекло захватит всё, и тогда охота закончится, и закончится стан, надо будет искать новые места, но пока достаточно живности, выходящей по весне наружу и ждущей своей стрелы или пули. Тыкулча сидит в схроне, жуёт разогретую вяленку, похожую на подошву, но почему-то удивительно вкусную, сам заготавливал, наверное, а может, и кто другой, все тут хороши, все тут умеют. В восьмом схроне есть чудо, которого нет в других, – окно: маленькое, узкое, низкое, под самым потолком, если встать на цыпочки – заглянешь. Там три слоя стекла – самого обычного, редкость тут, – всё прозрачно, Тыкулча, прежде чем в схрон спускаться, почистил, и видна белая равнина и чёрные лесные головы, недвижимые в безветрие. Тыкулча смотрит в окно в надежде на движение, авось кто появится, песец какой или птица, но понимает сам, что вряд ли, рано ещё, через недельку, не раньше, а пока они в своих схронах сидят, не высовываются. Бывало, заячьи схроны по весне откапывали – то-то радость была, и охотиться не надо, бери сонных за уши и волоки в стан, живых ещё, тёплых. Но это редко, только случайно получается – далеко от схрона не уйдёшь, а зайцы мало ли где прячутся, в стороне от тропы, в бесконечной белизне.

Там, на Стеклянном Великане, написано у самых корней имя. Когда Тыкулча его писал, Великан не был стеклянным, был деревянным, и Тыкулча – тогда ещё тоже вовсе не Тыкулча – продирает его жёсткую ребристую кору маленьким ножом, чтобы оставить навсегда, не забыть. Каждый охотник оставляет своё первое имя позади, у мамки в хате, в молочных берегах, и имя это – детское, грустное, смешное – в то же время самое важное, сокровенное, никто его не знает, кроме родителей и самого охотника. А потом охотник забывает его, и чтобы не потерялось, надо оставить его ещё кому-то – сове или лисице, нерпе или волку, скале или вот дереву, чтобы то помнило, знало, – родители умрут, охотник умрёт, дети его умрут, внуки его умрут, а волк будет помнить, или дерево, или камень, или нерпа. Старое имя Тыкулчи давно стало Стеклом, ушло в снег, скрылось из виду, и только он знал – оно там, там, никуда не делось, первое его имя, забытое в день, когда родился его первенец. С этими мыслями он засыпает и спит без сновидений, только трещат пеллеты, только прячется за окном солнце, погружая мир в белую тьму.

Утром Тыкулча просыпается, ест и выходит наружу. Он ненадолго, всего на час, законопачивать шлюзы нет смысла, так – закрывает едва-едва, чтобы живность никакая не проникла. Было дело, лисица в схрон пробралась, когда Тыкулча не видел, не в этот схрон, в третий, и как через несколько дней Тыкулча вернулся, всё внутри было перевернуто, сожрано, загажено, а лисица, свернувшись клубком, грелась прямо в печи, там угольки могли несколько недель не гаснуть. Лисицу он убил, но порядок потом два дня наводил, время потерял.

Сейчас он всё правильно делает, дверь закрывает, выходит. Воздух холодный, марево белое, час ходьбы до Стеклянного Великана. Тыкулча идёт механически, каждый год одно и то же, каждый день одно и то же, ничего не меняется в белизне, потому что белизна выше всех цветов, нет и не надо ничего больше. Хрум, хрум, хрустят под ногами льдинки, снег, но Тыкулча помнит, что когда-то тут ещё был чёрный, сухой кустарник, умеющий дать бой Стекло. Как тот выживал, почему? – он тысячу раз задавал себе этот вопрос, но не мог найти ответа. Все прячутся от зимы, скрываются под землёй и снегом, изолируют свой крошечный мирок от большого мира, и лишь чёрная поросль как будто ничего не чувствовала, как будто дышала каким-то другим воздухом, который не мог обратить её в Стекло. Приходит зима, и с холодом воздух становится стеклотворным, он обвивает тебя, как верёвка, стягивает и проникает в поры, и твоя плоть становится прозрачной, недвижимой, нерушимой, ты – идеальный материал, из которого ничего нельзя построить, потому что страшно, страшно касаться тебя такого.

А потом плоть умерла, и воздух проник внутрь – и с той поры уже никакой черноты, только отблески небесного марева в диковинных снежных формах. Таков Великан – огромный, незнамо как выросший среди этой плоскости, с симметричными рядами ветвей, точно лестницей, по которой должен подняться в небо стеклянный человек, да только не дошёл, погиб между схронами, канул в белое. Тыкулча смотрит на Великана, как всегда, с благоговением, задрал голову. Другой разведчик, может, просто вешкой бы его видел, ветки бы посчитал, силки поставил да обратно пошёл. Но тут – нет, тут другой случай, тут человек разговаривает с хранителем своего имени. Тыкулча подходит и садится на колени перед гигантом, перед многометровым его обхватом – жаль, коснуться нельзя – и шепчет что-то про себя, что – не разберёшь, слова любви ли, заклинание, может, какое. Встаёт, задирает голову, считает ветки-ступени: раз, два, три, досчитывается до четырнадцатой, а на пятнадцатой ещё снег лежит, ну и хорошо, когда бы на десятой лежал – пришлось бы ждать, а пятнадцатая – это с гаком даже, с запасом, можно идти обратно, есть сезон,

будет охота.

Тыкулча обходит Стеклянного Великана кругом, протаптывает тропу. Он рад: с каждым днём весна ближе, назад идти будет проще, в первом схроне он даже останавливаться не будет, сразу до стана дойдёт, времени хватит. Он задирает голову и понимает, что что-то не так, что есть что-то неправильное в ветвях, между вторым и третьим рядом – этого не было тут, никогда не было, только рёбра ветвей, стеклянная геометрия, вставший на дыбы *Tyrannosaurus rex*.

И вдруг Тыкулчу пронзает тысяча молний, ноги подгибаются, сердце трясётся под слоями меха и мембран. Он, опытный разведчик, охотник, тридцать лет ходящий по белизне, никогда такого не видел и не может осознать, не может поверить – как, как это возможно? Всё против такого, не может быть этого.

Там, в двух метрах над головой Тыкулчи, между ветвями висит стеклянный человек. Рассмотреть его трудно, как трудно рассматривать любое Стекло – через прозрачную кожу видны прозрачные рёбра, прозрачное сердце, за спиной – прозрачный ствол. Но Тыкулча близко и может угадать. Человек обнажён, на нём, видимо, были короткие термошорты и только, руки растянуты и привязаны к горизонтальной ветке, голова осела, скатилась набок, рёбра торчат, он худой, но крепкий, у него длинные волосы, они, прозрачные и неподвижные, свисают вниз, прикрывая левую сторону лица. Кто-то привёл его сюда перед самой зимой, уже после ухода становых, и привязал к ледяной ветви, распял на ней – ещё живого или уже мёртвого. Но как, кто, почему? Зачем они прошли мимо стана? Как миновали схроны? Успели ли вернуться, сбежать от зимы? Кто он, распятый?

Нет никаких пророчеств, никаких легенд, просто ты видишь перед собой стеклянного человека, распятого на самом краю весны.

## 2. Тринадцать

Мы шли в бесконечной тьме. Кто-то скажет: какая же это тьма, когда она белая. Но я знаю одно: если ты ничего не видишь впереди и ничего не видишь позади, это тьма. И неважно, какого она цвета.

Проводник говорил, что бывает и хуже. Три метра – уже ничего не видно. Ты идёшь, перед тобой – тёмная фигура, и если ты её теряешь, то уходишь в белое и становишься Стеклом. Где-то там, продолжал он, стоят призрачные фигуры, стремящиеся в никуда, – они похожи на статуи, обрамляющие дорогу ко дворцу в Джерре. Забавно, но они, мёртвые, могут спасти жизнь – если наткнулся на такого, значит, ушёл далеко от маршрута, развернись и попытайся вернуться. Может, выйдешь на верный путь.

Я шёл седьмым, с какой стороны ни считай. Передо мной покачивалась широкая спина Бабы, за мной слышалось позвякивание чёток – их перебирал Болтун, что-то порой пришёптывая, то ли молитву, то ли популярную песенку. Разобрать ничего не получалось – у Болтуна не было половины языка. Я смотрел под ноги, но иногда срывался и всё-таки оглядывался в надежде увидеть стеклянного человека. Но за все двадцать дней так и не увидел. Возможно, история Проводника – сказка и ничего более.

Но нам приходилось ему верить. Чёрт знает как он ориентировался в белом мареве, где ни земли, ни неба, ни звёзд, ничего. Шёл он уверенно, лишь иногда поднимая руку: стоп, и мы останавливались, покорно ожидая, пока он не разрешит идти дальше. Он смотрел то на небо, то на землю, то на одно белое, то на другое, а потом махал: вперёд. И мы ползли. Ничего не менялось вот уже три недели.

Темнело. Костюмы держали всё хуже и хуже – нет, холодно не было, наоборот, по нам стекал пот, но с каждым шагом нарастало понимание: снаружи – лёд и Стекло. Так бывает, когда ты сидишь у камина, а за окном – стужа, и тебе тепло, ты смотришь на пылающий в камине огонь, ты укутан в плед и попиваешь горячий чай, но стоит выглянуть, как тебя окружают завывания вьюги, ты представляешь себе, как там страшно, темно, холодно, и тебя передёргивает, несмотря ни на какие ухищрения. Ты знаешь, что там – плохо. Там – за окном, или там – вне костюма.

Проводник поднял руку: стоп. Не временная остановка, а ночёвка. Мы сбросили вещи и стали готовить лагерь. Впрочем, это было нетрудно: одна герметичная палатка-столовая и спальные места по лучам от неё. Снег утрамбовывать не нужно: он жёсткий и ровный. Туалет строить не нужно: ты делаешь всё в костюм и сливаешь по дороге. Столовая нужна, потому что постоянно питаться через трубочку и неудобно, и неприятно. Хочется иногда снять маску и поесть по-человечески. И ещё можно поговорить без раций.

Столовую ставили Братя, Проводник и Цифра, остальные размечали спальные места. Кто-то обязательно хочет спать ногами в направлении движения. Зачем, непонятно, всё равно везде одна и та же белая равнина. Ни людей, ни животных, ни растений, ничего. Здесь абсолютно безопасно, потому что смерть рассеяна в воздухе, и никакая опасность тут не выживает. Только мы, чёрные всадники апокалипсиса.

Мне всегда было неважно, куда спать. Хорошо, пусть будет туда. Или туда. Все направления условны.

Закончив с палаткой, Проводник отошёл. Он делал так иногда – становился где-нибудь в стороне и смотрел в белое. Мы не обращали внимания, мало ли что у него в голове. Но на этот раз он нарушил тишину.

«Вон», – сказал он по общему каналу. Мы, как один, посмотрели на него. Проводник вытянул руку, указывая куда-то пальцем. Мы подошли, всматриваясь в ничто. Сначала я ничего не мог разобрать, но потом нащупал в воздухе неправильность, точно белый цвет искажал пространство, выдавливая в нём почти двухметровый барельеф. Это был стеклянный человек.

Я никогда до этой минуты их не видел и, можно сказать, не увидел и сейчас. Я слышал, что относительный показатель преломления между воздухом и Стеклом практически равен единице, но не думал об этом, пока не столкнулся сам. Лучи проходили через прозрачного человека почти без искажений, заметить его можно было только под определённым углом, да и то не сразу.

Проводник сделал несколько шагов и протянул руку. Мы знали, что касаться Стекла нельзя, но Проводник, казалось, забыл правила. Он положил руку на плечо мертвеца и махнул нам: подойдите.

«Учитель...» – сказал кто-то в рацию. Проводник покачал головой: молчи. А потом поманил говорившего – это был Шимон. Тот сделал шаг вперёд, потом ещё один, а потом застыл. Он боялся. Проводник снова покачал головой и ещё раз показал: иди ко мне. Мне казалось, что я вижу улыбку под его маской.

Шимон подошёл – неуверенно, мелкими шажками, как ребёнок, который только учится ходить. Давай, кивнул Проводник, показывая на стеклянного человека.

Шимон протянул руку. Она дрожала. Видно было, как Шимон борется сам с собой, как детские сказки и взрослые правила сопротивляются реальности. Пятьдесят на пятьдесят – или ты станешь Стеклом, или с тобой ничего не случится.

«Ты усомнился?» – спросил Проводник.

Шимон застыл, даже дрожание исчезло. Нет, качнул он головой. Потом сказал для верности: «Нет».

И положил руку на другое плечо стеклянной фигуры.

Ничего не случилось. Шимон не растворился в воздухе, его органы не остекленели, он по-прежнему оставался тёмной фигурой в защитном костюме. Проводник засмеялся, включив передачу, – мы слышали его смех.

«Подойдите, – сказал он, – потрогайте. С вами ничего не случится».

Мы по очереди подходили и касались Стекла. Дотронувшись до призрачного плеча, я почувствовал, какое оно твёрдое. Я слышал, что Стекло ничем нельзя ни разбить, ни даже распилить. Оно выдержит любое давление, отобьёт любой удар. В этом была какая-то мистика – не к этому ли материалу стремились алхимики прошлого? Это ли не философский камень, прикосновение к которому дарует вечную жизнь, пусть и в виде того же Стекла?

«Оно воздействует только на органику, – сказал Проводник и разрушил магию момента. – Никогда не касайтесь Стекла голой кожей, это правило. А в перчатке – можно. Только недолго. Всё-таки холодно».

Потом мы сидели в палатке и ели. Зима была в разгаре, находиться снаружи без костюма было и опасно, и невыносимо. Пару недель назад Младший демонстративно помочился, расстегнув клапан, прямо на снег. После этого долго молчал и бодрился, а потом начал стонать – подморозил о`рган. Но вроде обошлось. Мы смеялись. Теперь уже нельзя, теперь невидимые стеклянные нити пронизывают воздух, обращая в прозрачную субстанцию всё живое, чего коснутся.

Мы сидели двумя кругами – в ближнем пятеро, включая Проводника, во внешнем – остальные восемь, в том числе и я. Мы молчали.

– Как думаете, кем он был? – спросил Энди.

Кто-то пожал плечами.

– Может, такой же, как мы, – ответил Баба.

– Таких больше нет, – сказал Шимон.

Снова повисло молчание. Оно не казалось тягостным, просто нам было нечего друг другу сказать. Всё уже сказано.

– Он был охотник, – вдруг произнёс Проводник. – Местный, скорее всего. На нём не было костюма, только какое-то шмотьё типа шубы, в чём тут становые ходят. Станов тут достаточно, они говорят, что живут на краю весны. Мигрируют от зимы, а летом заходят довольно далеко на её территорию. Если понимают, что не успеют вернуться, умирают с миром. Это их мир. Не такой, как наш.

– А почему мы в стан не пытались зайти? Погреться, не знаю, поесть нормально, а не это? – спросил Младший.

Энергомасса действительно осточертела. Всё бы отдал, чтобы поесть обычного мяса или овощей.

– Они уже, скорее всего, в зимовке. Они же не уходят от зимы совсем. Они на её территории. Конопатят землянки и залегают в спячку. Мы бы просто их не нашли. А нашли бы – не смогли бы войти.

– А вошли бы... – начал Баба.

– Там бы нас и убили. Всех, – отрезал Проводник.

Мы молчали.

Потом я сказал:

– Мы и так мертвы.

Никто не спорил. Это правда: мы были мертвы.

Потом мы ложились спать. В палатке помещалось пятеро – Проводник и особо приближённые, Шимон, Фил, Болтун и Яшка. Выбор Проводника меня всегда удивлял – почему именно эти четверо, почему не рассудительный, аккуратный Близнец или не могучий Баба, способный в одиночку нести вещи остальных двенадцати. Почему не Энди, который приходился Шимону если не братом, то как минимум лучшим другом – эти двое вместе появились в окружении Проводника и не могли прожить один без другого ни дня. Не знаю. Что-то он в них увидел. Хорошо, Шимон и Фил были с ним, уже когда он вошёл в город, но Болтун? Но Яшка? Первый за всё время нашего знакомства сказал слов пять, и все чудовищно нечётко – так, что разбирал его только Проводник. Яшка же казался идиотом – он постоянно что-то ляпал невпопад, ему нельзя было ничего поручить, он влипал в неприятные ситуации на ровном месте, со всеми ссорился и регулярно подворачивал ногу, замедляя движение группы.

А почему не я, задавал я вопрос. Не Проводнику и даже не себе самому – просто ледяному воздуху и бескрайней белизне. Потому что ты оскорбил его, как только увидел, отвечает воздух. Ты брякнул глупость, а он улыбнулся и простил её, но на самом деле, конечно, не простил, потому что он ничего не прощает. Он всё помнит.

Я спал ногами против движения. Поднимая голову, я видел белизну, которая раскинулась позади, которую мы миновали. Она ничем не отличалась от грядущей, но мне казалось, что в ней остались незримые следы, точно мы расталкивали воздух, и проделанные нами дыры затягивались медленно, мучительно, как разъятые раны. Через эти воображаемые дыры я пытался рассмотреть своё прошлое – отца, перебегающего от бойницы к бойнице, рыдающую над его телом мать, распятую на публичной доске сестру с окровавленной промежностью, свои собственные руки под ударами приклада. Искорёженные пальцы на правой так и не срослись как следует, перчатку мне кроили по индивидуальному лекалу. Зато я мог взять на фортепьяно невозможный для здорового человека аккорд, даром что играть не умел вообще.

Очень хотелось снять маску снаружи. В палатке понятно – можно. Но ты ничего не видишь, кроме крошечного замкнутого пространства. Хотелось встать, сорвать чёртову маску и вдохнуть ледяной туман полными лёгкими. И превратиться в Стекло.

Или не превратиться. Мы не знали, ещё можно или уже нельзя, и оттого перестраховывались. Близнец взял с собой наполненный живыми червями герметичный бокс с системой фильтрации воздуха. Червей было много, и на первых порах он каждый день вынимал по одному в палатке и выходил наружу. Если червь недох, он возвращал его в бокс. Черви были как канарейки в угольных шахтах – они умирали, спасая жизнь нам, людям.

Но до наступления Стекла черви не дожили. Ни один так и не стал твёрдым прозрачным комочком или палочкой. Полторы недели назад Близнец, возвращая очередного выжившего червя, неплотно закупорил крышку. Бокс стоял в шлюзе вместе с прочими вещами, и черви подохли от банального холода. У них не было специальных костюмов, чтобы спать снаружи. Поэтому мы не были уверены в том, наступило ли уже Стекло или ещё нет. Мы просто шли вперёд.

Ночью мне ничего не снилось. Уже недели две как. До того были обычные сны – абсурдные, с персонажами, наделёнными чертами разных людей, чаще всего не знакомых друг с другом в реальности. А потом как отрезало. Я закрывал глаза вечером и открывал их утром, а в промежутке не было ничего. Хотя на самом деле сны снятся всем и всегда. Если кто-то утверждает, что не видит снов, он просто их не помнит.

Возможно, внутренняя пустота была связана с пустотой внешней – когда ты день ото дня видишь только белое марево, воображение притупляется, пытаешься приспособиться к отсутствию информации. Максимум, что я мог увидеть во сне, – это спина Бабы. Так что, может, оно и к лучшему.

Проводник всегда вставал первым – так было и этим утром. Когда я открыл глаза, его расплывчатая фигура уже виднелась в нескольких шагах от палатки. Он сидел спиной к нам и едва заметно раскачивался. О чём он думал в эти моменты? Вспоминал ли величественный силуэт Ка, произносящего очередную площадную проповедь? Ощущал ли последнее прикосновение Алярин, пожавшей кончики его пальцев за несколько секунд до того, как мы растворились в толпе? А может, он вообще ни о чём не думал – просто медитировал с закрытыми глазами, подменяя белую тьму чёрной.

Я поднялся. Младший тоже не спал – он сидел справа от меня и перебирал чётки. Дурацкая привычка, по-моему.

«Внутри?» – спросил он.

«Да».

Мы поднялись и пошли в палатку.

Там уже не спали. Фил высасывал воду из шлюзового люка. Не знаю точно, как эта штука устроена – это просто трубка с рукоятью, ведущая из подпола палатки внутрь. Видимо, нагревательный элемент подтапливает снег, а ручной насос подаёт воду наверх.

– Сони, – сказал Шимон.

– Иди сам снаружи поспи, – огрызнулся Младший.

– Я по-доброму.

Младший издал неопределённый звук, вроде как фыркнул. Я молча взял упаковку с энергомассой, залил водой. Смесь забурлила и разогрелась. Глотая безвкусный паёк, я вспоминал бабушкины пироги с черникой. После её смерти я никогда не ел ничего подобного. Я рассказывал о пирогах нескольким своим женщинам, и они пытались порадовать меня, сделав что-то похожее. Но с таким же успехом они могли бы кормить меня энергомассой. Бабушкин секрет исчез вместе с ней.

Мы жевали в молчании, шебаршились, Яшка побряхтывал. Потом вошли Братья – как всегда, вместе, двигаясь совершенно одинаково, как два танцора, исполняющие одну и ту же партию.

– Утро, – сказали они с небольшим отставанием друг от друга. Они всегда так говорили, и это звучало как рассинхронизированная запись.

– Оно, – ответил Шимон.

Забавно, но Братья не были близнецами. Похожие какими-то деталями – крупным носом, близко поставленными глазками, – ещё большим количеством черт они отличались. Начиная с того, что один был брюнет, второй – пепельный блондин. Я не знал их имён, да и никто не знал, думаю, кроме Проводника. А может, и он не знал.

Потом вошёл Проводник.

– Я уже ел, – сказал он с порога.

Шимон угукнул.

Начали заползать остальные. Стало тесно. Толпа мужчин в защитных костюмах на нескольких квадратных метрах – как сельди в бочке. Два засола в день – утренний и вечерний.

– Я хотел спросить, – начал Близнец.

– Спроси, – отозвался Проводник.

Но Близнец молчал. Впрочем, я знал, что у него за вопрос. Все знали.

– Спроси, не бойся, – повторил Проводник.

Отозвался Баба. Может, потому что был самым глупым и оттого не умел бояться. Если он и молчал, то не от страха и не из уважения, а потому что все молчали.

– Сначала ты говорил – двадцать дней, не больше. Потом стало тридцать. Потом сорок. Сегодня сорок шесть.

Баба замолк. Проводник повернулся к нему. Во взгляде Проводника не было упрёка или усталости, только доброта, желание помочь.

– Куда ты идёшь, Баба?

Тот нахмурился.

– В каком смысле «куда»?

– В прямом. Куда ты идёшь?

Баба будто не понимал вопроса. Он смотрел на остальных, как нерадивый студент на экзамене, в поисках подсказки.

– Ну, – выдавил он. – Все знают, куда мы идём.

– Нет. – Проводник покачал головой. – Не «куда мы идём». Куда ты идёшь.

Он выделил «ты» голосом.

– Я... – промямлил Баба и внезапно сделал шаг назад, будто пытаюсь вернуться в круг, из которого не выходил.

Проводник сел посреди палатки. Мы стояли над ним, и при этом именно он умудрялся смотреть на нас сверху вниз. Как – я не понимал.

– Садитесь. Лучше мы потеряем ещё полдня, чем будем идти в неведении.

Мы сели – неуклюже, расталкивая друг друга. Проводник прикрыл глаза, снова открыл их и осмотрел нас.

– Каждый из вас, – сказал он, – идёт своей дорогой. Вам кажется, что вы топчете чужие следы, что перед вами нет ничего, кроме спины товарища. Но это не так. Просто дороги разных людей могут случайно совпасть. От этого они не становятся одной дорогой. Они просто временно ведут в одно и то же место. А потом снова расходятся.

Он помолчал, давая нам переварить мысль. Впрочем, в этих передышках никогда не было нужды. Истины, которые изрекал Проводник, казались мне очевидными – это те вещи, которые знает каждый человек, но не говорит о них просто потому, что здесь не о чем говорить. Когда я вижу белую кружку, я просто пользуюсь ею или не пользуюсь, но не кричу на весь мир: «Белая кружка!» Все и так видят, что это и какого оно цвета. Проводник же, молча делая что-то, одними своими движениями, казалось, озвучивал происходящее – в воздухе

вокруг него повисали описания действий: «смотрите, я ем», «смотрите, я смеюсь», «смотрите, я думаю». Его «лекции» представляли собой озвучку само собой разумеющихся вещей, которые казались мудрыми лишь потому, что их невозможно было опровергнуть. Трудно спорить с очевидным. Да и зачем.

– Но есть ещё одно, – продолжил он. – Вы об этом никогда не думали, и вам покажется, что я говорю чушь. Но это не чушь.

Театральная пауза.

– Мы всегда заканчиваем там же, где начинаем. Мы все движемся по кольцу. Нет ни одного человека, который бы начал путь в одном месте, а закончил – в другом. Мы умираем там, где родились. Нас хоронят там, где мы вышли из материнского чрева.

Все молчали, а потом Цифра сказал:

– Это полный бред. – И добавил: – Извини.

Мы зашевелились. Слова Проводника не удивили никого из нас – мы привыкли к его изречениям, истинам, предсказаниям. А вот слова Цифры прозвучали неожиданно. Каждый из нас хотя бы раз задумывался о том, что Проводник может быть неправ. Это если выразаться мягко. Но никто и никогда не высказывал этого вслух.

И да, мы не знали, как отреагирует Проводник. Он никогда не выходил из себя, никогда не повышал голос, никогда никого не ругал и не отчитывал, но мы всё равно не могли поверить, что у него нет предела терпения. Однажды он должен был сорваться.

А он опять улыбнулся.

– Давай проверим, – сказал он.

– Как? – спросил Цифра.

– Легко. Вспомни кого-нибудь, кто не подходит под мои слова. Любого.

- Ну, мой отец.

- Он родился в Виффе. - Это прозвучало как утверждение, а не как вопрос.

На лице Цифры появилось недоумение.

- Да.

- А умер на пути в Кривую Щёку, в самую холодную зиму.

Цифра неуверенно кивнул.

- Ты хочешь спросить, откуда я знаю. Ты думаешь, не рассказывал ли ты мне об этом раньше. Нет, не рассказывал.

Проводник опустил взгляд, точно стеснялся продолжить, глядя Цифре в глаза.

- Ты думаешь, что он вышел из города в начале марта, чтобы к маю дойти до Кривой Щеки. У него не было золота, хотя он знал, что в Кривой Щеке нельзя расплатиться кредитами. Он хотел обналичить свой запас в одном из последних пунктов перед Белой землёй - в Акломее, так?

Цифра кивнул.

- Там же он хотел купить костюм, нанять санника и пойти дальше. И вернуться в Виффу с грузом Стекла. Но не вернулся.

- Говорили, что его убили в Акломее. Ограбили и бросили умирать.

Проводник поднял глаза.

- Если ты когда-нибудь вернёшься в Виффу, возьми лом и иди по Пятой Западной в сторону окраины, а после восьмого дома сверни в переулок. Там отсчитай шесть окон, увидишь старый канализационный люк. Открой его ломом и спускайся. Сначала прямо, затем два поворота налево и ниша справа в стене. Там лежит то, что осталось от твоего отца.

По лицу Цифры читалось: «что за чушь», но он молчал.

– Он не смог даже выехать из города. Его ограбили ещё в Виффе и слишком сильно ударили по голове. Когда они поняли, что он мёртв, спустили тело в бывшую канализацию. Там оно и лежит до сих пор.

– Я никак не могу это проверить, – сказал Цифра.

– Сейчас – не можешь. Но если вернёшься – проверишь.

Вперёд выступил Младший.

– Подожди, Проводник. Ты-то сказал, но Цифра прав. Это ж никак не проверишь. Давай по-другому.

– Давай.

– У меня был брат. Он прожил восемь дней, ему не успели даже дать имя. Он родился в Кариофе, я был при его рождении. Он был очень слабый, мать рожала на седьмом месяце. И мы сразу поехали в Хану, потому что там был хороший врач. Его положили в больницу, но он всё равно умер. В Хане. Не в Кариофе.

– Где его похоронили?

– Нигде. Мы оставили его там. Мать сказала – пусть делают, что хотят.

– То, что я сейчас скажу тебе, будет звучать неприятно, – сказал Проводник.

– Давай, чего уж.

– В Кариофе находится единственный в округе мусороперерабатывающий завод. Все отходы Ханской окружной больницы свозят туда.

Повисла тишина. Наверное, все мы представили себе одну и ту же картину. Крошечный трупик недоношенного ребёнка, окровавленный, в куче другого мусора, среди каких-нибудь кишок, бинтов и пакетов с блевотиной.

– Ты можешь говорить всё что угодно.

Голос Младшего прозвучал зло.

– Я могу говорить всё что угодно.

Проводник встал.

– Ты оставил труп брата в больнице, потому что не захотел похоронить его по-человечески, а теперь сердись на меня? За что? За то, что я сказал тебе правду? Так?

Он говорил спокойно, ледяным тоном, но мне всё равно казалось, что он смеётся над Младшим. Точнее, не над ним, а вместе с ним – над чем-то незримым, неизвестным, но несомненно вызывающим смех. Я не мог объяснить этого ощущения. Любой другой человек на месте Проводника в подобной ситуации был бы страшен.

Младший развернулся, протолкнулся сквозь нас и вышел через шлюз.

– Вы закончите свой путь там, где начали, – сказал Проводник. – Вот и всё.

– А ты? – спросил Баба.

Проводник посмотрел на него внимательно, как будто не ожидал от гиганта разумного вопроса. Впрочем, возможно, и не ожидал.

– И я, – сказал он и надел маску.

### 3. Алярин

Её били страшно. Били руками, били ногами, по животу, по груди, по голове. Кто-то размахивал рукоятью от лопаты и случайно заехал соседу, тут же возникла

потасовка. Эй ты, кричал кто-то, ты что, сука, совсем охренел. Часть дерущихся откатилась в сторону спутанным клубком, и на их месте тут же образовались другие. Все хотели ударить её, достать, добраться. Она сжалась в комочек, её лицо было измарано кровью и грязью, потёки туши смешались с потом, но она не теряла сознания. Чувствуя секундную передышку, она приоткрывала один глаз – тот, что ещё мог открываться, – и узнавала, и запоминала. Она ведь всех их убьёт. От первого до последнего. Выживет, вылежится и вернётся за их головами. Вот этому здоровяку в кованых сапогах она отрежет член и заставит сожрать. Вот этому худому ублюдку она ложкой будет выковыривать глаза. А вот этому... Потом передышка заканчивалась, и они начинали снова – ребро за ребром, сустав за суставом. Кто-то наступил на её ладонь, захрустели пальцы, она взвыла, и кто-то тут же ударил её ногой под подбородок, изо рта посыпались осколки зубов. Шлюха, орал кто-то, сука, и что-то ещё, но она уже не слышала.

Она не чувствовала, как бить перестали. Она не знала, что кто-то взял её на руки и понёс, пачкая белую рубаху кровью, вниз по улице. И хорошо, что не знала, потому что побоялась бы принять помощь из этих рук. Из рук, которые бережно раздели её, стараясь не деформировать изломанные конечности, обмыли водой и наложили шины – одну за другой, на пальцы, на руки, на ноги. Которые вставили на место выбитую челюсть и закрепили её профессиональным узлом. Которые обрезали её длинные, чёрные некогда волосы, а потом выбрили череп и зашили несколько ран на голове. Она заснула надолго – на двенадцать дней, из которых семь её лихорадило, она выгибалась, насколько могла, и стонала, и говорила, говорила – бессвязно, путано, невнятно. Мужчина, забравший её у толпы, молча слушал, а потом, когда она успокаивалась, поднимал её голову и вливал туда тёплый бульон. Она рефлекторно глотала.

У неё на животе была рваная рана. Не прорезанная ножом, а продавленная тупым предметом, который прижало и протащило по коже. Она прижимала этот предмет к себе, свернувшись калачиком у землебитной стены, а он позже положил себе в карман, чтобы рассмотреть повнимательнее. Это был пистолет – классический сорок пятый калибр, разряженный, стреляли недавно – ствол всё ещё пах огнём. Он аккуратно протёр оружие, потом разобрал, почистил и смазал. В кого она стреляла? В своих убийц? Она ли? Попала или нет? Нет ответов. Оставив её в доме, он пошёл в оружейный магазин и купил две упаковки патронов сорок пятого калибра. Оружие не может быть незаряженным, считал он. Пистолет с пустой обоймой – это как человек без одежды, стоящий посреди улицы в чужом городе. Пистолет должен стрелять, и каждый его выстрел должен отнимать жизнь. Позже я верну ей оружие, думал он, и спрошу,

на что она потратила обойму.

Он не мог оставить её одну и попросил старуху, жившую по соседству, помочь. Та кряхтела и причитала, но старательно промывала раны и меняла повязки. Он заплатил старухе в два раза больше, чем мог бы. Ему было не жалко. Главное, что старуха не задавала вопросов. Она просто приходила и уходила, и ничего из происходящего в полутёмной комнатке не оказывалось вне её стен.

Ещё он слушал. Он узнал, что у неё когда-то был сын, но она его потеряла, что она ушла в пустыню, чтобы там умереть от горя, но встретила странствующего стрелка, который научил её ездить на верблюде и пользоваться оружием, а потом его зарезали на базаре, когда он вступился за ребёнка, укравшего дыню, и она осталась одна. Ребёнка, к слову, тоже зарезали. Потом она была шлюхой на Проспекте и пользовалась успехом, потому что её клиенты любили пожестче, а она била их верблюжьим шокером и вставляла шипастые штыри в анальные отверстия. Потом он не понимал – её слова не складывались в общую картину, рассыпались на детали, которые не сочетались друг с другом. В одно и то же время она шла через снежную пустыню к стеклянному дереву, дралась с непонятным шестиногим животным на плоту посреди высокогорного озера, трахалась с человеком, обгоревшим во время пожара на скотобойне, ела парную крольчатину в самом дорогом ресторане Столицы и стреляла из пистолета себе в рот. И ничего из этого никак не объясняло, почему её били мужчины, три десятка мужчин, руками, ногами и черенками от лопат.

На шестой день он взял нож и пошёл в тот самый переулок. Следов почти не осталось, только на стене шевелился на ветру прилипший клочок длинных чёрных волос. Он запомнил двоих – Плевка и Философа, жалких алкашей с соседней улицы, они пристроились к бьющим позади и норовили достать её ногой – но не доставали. Когда он рявкнул и все остановились, эти двое побежали прочь, потому что, в свою очередь, узнали его и знали, на что он способен. Он прошёл через толпу мужчин, и никто не остановил его, когда он поднял её и понёс прочь, и он не узнал больше никого, кроме этой парочки. Теперь он искал их.

Плевок сидел в ближайшем кабаке, в самом тёмном углу, в бессознательном состоянии, свесив голову на грудь. Когда он сел рядом с Плевком, бармен покачал головой и показал на заднюю дверь: только не здесь, только не здесь. Он кивнул. Он знал правила. Он взял Плевка за шкуру, выволок из-за стола и потащил к двери. Тот очнулся не сразу, что-то мычал, вяло цеплялся руками за выступающие половицы и разодрал ладонь о торчащий из стены гвоздь. Он

приподнял Плевка и с силой бросил его на землю. Тот продрал глаза, рассмотрел обидчика и сразу всё понял. Не надо, запричитал Плевко, не надо. Не надо, согласился он, только расскажи мне, что случилось. Почему её били. За что. Кто это начал. Плевко скулил и сперва ничего толком рассказать не мог, потому что они с Философом подошли позже, но, по его словам, некто Патер всё должен был знать, а найти этого Патера можно было через Максимилиана. Он кивнул: да, через Максимилиана можно найти кого угодно. Спасибо, сказал он, нагнулся и перерезал Плевку глотку. Тёплая кровь толчками выплёскивалась на сухой песок, а он облизнул лезвие и, поморщившись, пошёл искать Философа.

Он вернулся домой вечером. В тот день он убил четырнадцать человек – за женщину, о которой не знал ровным счётом ничего. Это были так себе люди, человеческий мусор, отбросы, но всё-таки они ходили, дышали, ели и занимались сексом. Или не занимались, он не знал. В основном он пользовался ножом, но последнего, который верещал что-то про Патера, который был во всём виноват, он забил стальной набойкой на носке ботинка – забил смачно, жестоко, планомерно, ударами в живот, превращая в месиво внутренние органы. Но теперь, вернувшись домой, он знал: Патер не принимал участия в бойне и никак не был связан с Максимилианом. Он просто существовал где-то в городе и призывал убивать тех, кто с его точки зрения не вписывался в структуру общества, – проституток, наркоманов, бесноватых, он стремился к идеальному арийскому миру, только вместо голубоглазых блондинов в этом мире должны были доминировать черноволосые парни со сросшимися на переносице бровями.

Вечером он сидел и смотрел на её исковерканное лицо. Ему казалось, что где-то там, под вздутой синюшной кожей прячется настоящая красавица. Пустынный стрелок влюбился в неё с первого взгляда и дал ей то, что мог дать – научил драться. Но есть такое правило: тот, кто не хочет драться, никогда этому не научится. Поэтому она хотела драться тогда и будет драться сейчас, когда от её силы зависит её жизнь. Он смотрел на неё и чувствовал исходящую от неё силу, и больше всего на свете он хотел услышать её историю, поскольку всегда нужно знать, за что убиваешь. Он не знал.

На тринадцатый день она очнулась. Всхлипнула и приоткрыла тот глаз, который открывался. Она ничего не видела – только мутную пелену и светлое пятнышко в районе лампы. Потом пятнышко пропало – он заслонил свет собой. Она попыталась что-то сказать, но распухший язык не слушался, и даже эта попытка вызвала боль. От боли она застонала громче, и стало ещё больнее. Тшшшш, сказал он, не двигайся и не говори. Если ты меня слышишь, то пошевели

пальцем. Вот этим, он дотронулся до мизинца на её левой руке – единственного целого. Она не поняла. Он повторил свою просьбу ещё раз. Она пошевелила. Молодец, сказал он. Тебя страшно избили, но я тебя нашёл и принёс сюда. Тебе нельзя двигаться, я зашил твои раны и наложил шины на переломы. За тобой ухаживает старуха Юдифь, она придёт днём, не бойся её, она хорошая. Я здесь бываю по вечерам. Я знаю, что у тебя много вопросов, но пока ты не сможешь их задать. Ты прокусила язык, чудом не откусила. Его я тоже зашил, но пока ты говорить не можешь. Надо подождать ещё пару недель. Она застонала. Он продолжил: давай условимся. Палец к себе – это «да», палец от себя – «нет». Попробуй. Скажи «да». Она согнула палец. Теперь «нет». Она разогнула. Молодец, всё поняла. Я буду задавать тебе простые вопросы, ты будешь отвечать «да» или «нет», хорошо? Да.

Но ни одного вопроса он не задал, потому что она заснула, а он ушёл во тьму, чтобы продолжить. Он ходил по значным местам и спрашивал у своих осведомителей, кто такой Патер, и все до единого слышали это имя, но никто не видел его воочию. Все слышали слова, сказанные им кому-то другому, например о том, что нужно убивать детей, которые коснулись его одежды, или о том, что нельзя улыбаться, а кто посмеет улыбнуться, должен быть немедленно лишён языка, или о том, что воины его должны оскотить себя, чтобы никогда больше не изведать женской плоти, или о том, что если кто посмотрит на него косым взглядом, то немедля этот человек должен быть ослеплён, и так далее, и тому подобное. Патер жесток и жёсток, Патер всесилен и мстителен, за ним идут тысячи, а пойдут – миллионы, говорили в толпе. Он не верил в эти бредни, потому что знал, что любой местный царёк остаётся местным царьком, что бы ни говорили люди.

Однажды, за много лет до событий, он в одиночку прошёл через три слоя охраны Мартина Кочмара. Кочмар руководил группировкой, известной жестокими расправами с неугодными. Десять бойцов Кочмара получили приказ «проучить» местную семью, глава которой задолжал Кочмару значительную сумму и не мог отдать на протяжении полугода. Бойцы убили всех – должника, обеих его жён, сына, трёх дочерей, зятя, невестку, двух соседских детей, бывших в гостях, а семимесячную внучку живьём бросили в костёр из тел. Потом они вернулись на виллу Кочмара и стали пьянствовать, отмечая удачную операцию.

Ему позвонили через четыре часа. Позвонил его знакомый, который знал, что закон не в силе, а значит, нужно беззаконие. Он всё понял, взял нож и пошёл на виллу. Он перебрался через ограждение и зарезал обеих собак, которые его не

почуяли – его нельзя было почуять. Потом он перерезал горло часовому, а второму свернул шею. Потом он прошёл через кухонную дверь, вбил кадык поварёнку в шею, а повара окунул головой в кипящий соус и держал, пока тот не перестал шевелиться. Когда на кухню вошёл боец, чтобы узнать, почему не несут добавку, он расколол ему череп колотушкой для отбивания мяса. Потом он вышел в зал, где пировали убийцы, окровавленный, с колотушкой в одной руке и ножом в другой, и когда он вышел, вся комната была в дыму от пальбы и трупах, а на нём не было ни царапины, и в руках у него по-прежнему были колотушка и нож.

Он поднялся на второй этаж, по дороге убив скорчившуюся в углу служанку, но Кочмара не нашёл – тот успел уйти через окно, и во дворе раздался шум двигателя. Он бросился через всю комнату и спрыгнул со второго этажа прямо на крышу отъезжавшего внедорожника. В него стреляли, но пули лишь дырявили сталь, а он сполз на подножку машины, разбил стекло рукоятью ножа и воткнул лезвие в ухо водителю. Машину занесло, и она опрокинулась, он успел спрыгнуть. Человек, сидевший рядом с Кочмаром, погиб, наткнувшись виском на осколок стекла. Кочмар был жив. Он вытащил его из салона, раздел и привязал к дереву, а потом долго хлестал по щекам, чтобы тот очнулся. Кочмар плакал, просил пощады, но он не слушал – он сходил в гараж за газовой горелкой и пытал его несколько часов – отрезал разные части тела, после чего прижигал раны, чтобы остановить кровотечение. Он оставил Кочмара живым – без рук, ног и члена, слепого, безъязыкого и безухого, с вырванными зубами и ноздрями. Позже он слышал, что тот остался жив – его нашли, когда он ещё дышал. Пусть дышит дальше, подумал он. Пусть даже убивает. Но он всегда будет помнить, почему стал таким, каким стал. И он будет знать, кто его таким сделал, потому что он не удержался и вырезал на груди Кочмара своё имя.

Никто не знал, откуда пришёл Патер. Кто-то говорил, что с юга, кто-то – что с севера, кто-то утверждал, что он местный и до недавнего времени никаким вождём не был, просто обычный человек в обычном городе. Никто толком не мог описать Патера – тот превращался то в белобрысого великана, то в длинноносого карлика, то даже становился женщиной или ребёнком, и каждое описание было уверенным, и каждое опровергало все предыдущие. Никто не мог точно передать слова Патера или объяснить причину их воздействия. Люди, убивавшие по его приказу, никогда не слышали его и не видели, им ничего не обещали и не платили, убийство становилось их собственным желанием – они хотели сделать то, о чём ранее никогда не помышляли. Некоторые города объявили награду за голову неуловимого властителя душ, но с таким же успехом можно было предлагать деньги за поимку архангела Михаила.

Но он отличался от обычных людей. Он твёрдо знал, что Бога нет, а Патер – есть, и это живой человек. И каким бы он ни был сильным, влиятельным, таинственным и умным, он его поймает. А потом будет пытаться. Просто потому, что пытки доставляют ему удовольствие.

Окраинный доходяга сказал ему, что Патер известен тем, что может дотрагиваться до Стекла голыми руками. Сначала он не поверил, но затем то же самое повторили ещё несколько человек из самых разных сред – бомж, владелец гостиницы, полицейский осведомитель, шофёр одного богатея и элитная проститутка. Стекло стало зацепкой, которая могла вывести на Патера, – и он схватился за неё как за последнюю ниточку от некогда крепкого каната, удерживающего мост над пропастью. Он знал нескольких человек с подпольного рынка Стекла и в тот же день встретился с одним из них, мелкой сошкой по имени Ю, в китайском квартале. Ю занимался тем, что прощупывал почву – улышав, что кто-то где-то ищет Стекло, он узнавал всю подноготную потенциального покупателя и передавал информацию дилеру, который уже знакомился с клиентом и удивительно точно, пользуясь сведениями Ю, угадывал все потребности и возможности первого. Ю слышал о Патере и предположил, что тот имеет какое-то отношение к поставкам Стекла в город – добыча была сопряжена с многочисленными трудностями, Стекло везли с далёкого севера, и стоило оно дорого. Человек, стоящий во главе пирамиды, просто обязан был иметь серьёзное влияние – такое, каким мог бы похвастаться Патер, если бы существовал на самом деле. Он взял у Ю контакты дилера – Ю при этом потерял два пальца на левой руке.

Потом он нашёл дилера. Тот сидел в курильне, посасывал опиумную трубку и раскладывал примитивный пасьянс. Пасьянс раскладывался плохо, потому что дилер был уже изрядно под кайфом. В курильню пропускать не хотели: одному парню у входа он сломал руку, второму челюсть. Внутри его поджидали два телохранителя, но они тоже продержались недолго; одного он, похоже, убил. Дилер не сразу понял, чего от него хотят, но после третьего отрезанного пальца подсказал, куда идти дальше. Он вышел через заднюю дверь, когда в переднюю уже врывались посланные на помощь бойцы. Дилера они нашли мёртвым – опиумная трубка была вбита в его глотку.

Дилер подтвердил, что Патер имеет отношение к поставкам Стекла, которое реализует местный воротила Хан. Он знал Хана, пересекался несколько раз, даже работал на него лет пятнадцать назад. Хана он не боялся, потому что он ничего не боялся, но знал, что лучше не нарываться. Если достанешь Хана, то

следующим достанут тебя. Никуда не уйдёшь, ни на какой край света. Надо было подумать, взять паузу.

Она тем временем начинала оживать. Уже не реагировала на свет, как на лезвие ножа. Вяло двигала конечностями. Старуха переворачивала её, чтобы не было пролежней, обмывала. Он пытался задавать ей вопросы, но она не слушала, отворачивалась. Кто такой Патер, спрашивал он, а она говорила: принеси воды. Он приносил и снова спрашивал, а она снова придумывала что-то, чтобы не отвечать. Потом ему надоело, и он сказал: ты знаешь, зачем мне нужно знать, кто он? Принеси мне воды, сказала она. Нет, ответил он, никакой воды. Я хочу, чтобы ты со мной говорила. Принеси мне воды. Нет, я расскажу тебе, для чего мне нужен Патер. Я хочу найти его и убить. Сдрать с него кожу, начиная с ног, чтобы он умирал как можно дольше. Поливать его кипятком. Выкручивать ему суставы. Я хочу отомстить ему за тебя и за всех, помимо тебя. Она слушала это, а потом хотела сказать «принеси мне воды», но передумала и прошептала: не надо. Почему? Не надо, ты не сможешь, сказала она. Я всё могу. Я могу в одиночку вырезать этот город. Верю, но его – не сможешь. Почему? Потому что он бог в человеческом теле. В нём нет ничего человеческого, в нём только божественное. Он берёт то, что ему нужно, и выбрасывает то, что ему не нужно. Мы – твари для него, слякоть под ногами. А кто ты ему, спросил он. Она не ответила. Кто ты ему. Никто, совсем никто, она покачала головой. Дай я сам догадаюсь. Ты знала его ближе других, правда? Ты с ним спала? Нет, отвечала она, я видела его всего один раз. Он не верил, а она лежала и плакала, и ему стало её жалко, он понял, что с ней так не стоило. Извини, сказал он. Нет, правда, извини. Я просто действительно хочу тебе помочь. Если бы ты хотел мне помочь, ты бы дал мне умереть, вдруг сказала она и попыталась отвернуться к стенке. У неё не получилось, даже голова ещё не поворачивалась толком. Он встал и вышел.

Он не пошёл напролом. Он позвонил Хану, потому что знал его номер, и пришёл к Хану на встречу, как положено. Хан принимал в большой красной зале и пытался выглядеть китайцем, хотя все знали – ему сделали операцию, его глаза не были раскосыми от рождения. Он поклонился Хану, и тот склонился в ответ. Ты убил моего дилера, сказал Хан. Да, ответил он, потому что мне нужно было кое-что узнать, это не из неуважения к тебе. Я знаю, сказал Хан, если бы это было из неуважения ко мне, ты бы вошёл в этот зал по кусочкам. А теперь говори. Кто поставляет тебе Стекло, спросил он. Хан склонил голову. Зачем тебе знать? Мне нужен Патер. Патер? Да. Я не знаю никакого Патера. Прекрати, Хан, тебе никогда не удавался покер-фейс. Все замолкли, потому что никто не смел так разговаривать с Ханом. Но тот рассмеялся, да, ты прав, а зачем тебе? Я его

убью. Хан снова улыбнулся, но на этот раз иначе – скорее как отец улыбается, если его сын говорит глупость. Ты не сможешь. Почему? Потому что ты не сможешь, Хан помрачнел, потому что ты не сможешь убить бога. Он подумал, что все походили с ума, называя какого-то непонятного то ли проповедника, то ли контрабандиста богом. Это уже моё дело, я сам разберусь, просто сведи меня с ним. Ты не сможешь его убить. Ну раз ты так уверен, тем более сведи – терять тебе нечего. Нет, Хан покачал головой, мне есть что терять. Нельзя ссориться с Патером.

Он сделал шаг вперёд. Телохранители Хана напряглись. Он улыбнулся. Хан нахмурился. Он сказал, ты же знаешь, Хан, знаешь. Я же могу убить и тебя, и всех этих твоих парней, просто голыми руками, мне ничего для этого не надо. Я даже не вспотею. Я знаю, ответил Хан, но тогда тебе придётся уйти из города, и ты никогда не выйдешь на Патера. Это хороший аргумент, сказал он, но у меня есть другой. Если ты ничего мне не скажешь, то мне неважно, жив ты или мёртв. Вообще без разницы. Из города я уйду, не впервой, а ты будешь мёртв. Два телохранителя сзади него сделали по три шага. Он развернулся и посмотрел поочерёдно на одного и другого.

Не надо, сказал Хан. Ладно. Уговорил, дипломат хренов. Я дам тебе номер. Ты позвонишь по нему завтра. Я подчёркиваю: завтра утром. Тебе ответит человек по имени Саваоф. А дальше – как знаешь. Можешь назначить ему встречу, можешь сказать, что хочешь его убить. А кто этот Саваоф? Он? Нет, это его помощник. Его самого видят только приближённые, а Саваоф общается с посторонними. Тихий такой, странный. А почему не сегодня? Потому что сегодня день рождения моей дочери, и я не хочу, чтобы мой вечер испортили разборки. Хорошо. Передавай дочери привет. Ей два года, ей не нужен привет от такого, как ты. Как знаешь. И он вышел.

В тот вечер он читал ей Роберта Отфрида. Что тебе почитать, спросил он, и она сказала: Отфрида, и он нашёл в Сети сборник «Север и север» и читал его подряд, последовательно, не пропуская ни одного стихотворения. Она слушала молча, не обращала внимания на то, что он сбивался, путал местами строки, глотал окончания. Он старался, и это было ей приятно. Потом она прервала его и спросила: нашёл? Да, ответил он, ты знаешь Саваофа? Нет, ответила она, не знаю. Говорят, это его правая рука. У него нет правой руки. Не в том смысле, что он однорук, а в том, что он никого к себе не подпускает. Тебя же подпустил. Она замолчала. Потом сказала: не подпустил. Я же говорила – я видела его всего однажды. Он возразил: может, он изменился. Боги не меняются. Почему все

называют его богом? Ты уже спрашивал.

Утром он вышел на улицу и набрал Саваофа. Тот не ответил. Он прошёлся по улице вперёд и назад. Он поймал себя на том, что волновался, хотя он не волновался уже много лет. Он умел отключать эмоциональное восприятие, он умел убивать, не думая о том, что отнимаешь жизнь, он мог убить ребёнка или старика, ему было неважно, он не испугался, даже когда перед ним встала целая армия. Это было много лет назад, он убил человека, которого охраняли три тысячи бойцов, пробравшись на балкон его виллы по стене. Он поймал момент, когда тот вышел покурить, и сломал ему шею. Он уже надеялся уйти тихо, как и вошёл, но кто-то заметил тело и поднял тревогу. Он спустился по чёрной лестнице и вышел в парк, но там его уже ждали. Путь назад был отрезан, и ему оставалось только пройти через несколько сотен бойцов, чтобы оказаться снаружи, сесть в свой автомобиль и уехать. И он прошёл. В нём не было ни капли страха, ни капли волнения, он шёл через них, как будто собирал детали на конвейере или мыл посуду. Он стрелял, резал, колот и бил, прыгал, увёртывался и пригибался, он был вихрем, смерчем, торнадо, ураганом, чудовищем, квинтэссенцией зла. На эти пятнадцать минут Харону стоило сменить ялик на круизный лайнер.

А теперь он волновался – перед обычным звонком какой-то шестёрке. Впервые за тридцать лет, кажется. Он даже не помнил, каково это – волноваться.

Прогулявшись, он немного успокоился и набрал номер ещё раз. Несколько гудков спустя ответил спокойный мужской голос. Слушаю. Я хочу встретиться с Патером, сказал он. Зачем? Хочу купить Стекло. Патер не продаёт Стекло. А Хану продал. Саваоф на некоторое время замолчал. Ты от Хана? Да. Он за тебя поручится? Да. Хорошо. Что хорошо? На том конце усмехнулись. Всё хорошо, сказал Саваоф и внезапно назвал его настоящее имя – то, которое нельзя было произносить никогда. Откуда вы знаете, спросил он. А почему бы мне и не знать? Он встретится со мной или нет? Да, встретится. Когда и где? Сегодня вечером. Приходи к перекрёстку у таверны. У какой таверны. Ты знаешь, у какой. Он знал.

Не ходи, сказала она. Ты не знаешь, куда я иду. Я знаю. Он же не подпустил тебя к себе. Нет, не подпустил. Но это неважно. Я всё равно знаю, куда ты идёшь. Ты идёшь на смерть. Я всегда иду на смерть. Нет. Обычно ты идёшь на смерть, зная, что останешься жив. Я и сейчас знаю. Не, не знаешь. Она была права – он не знал, останется ли он жив, потому что он погружался в непонятное. Что будет со мной, если ты не вернёшься? С тобой всё будет хорошо. Старуха поставит тебя на ноги – ей заплачено за полгода вперёд. И я скажу, где спрятаны ещё деньги.

Я не про это. А про что? За всю мою жизнь всего двое были ко мне добры, и тот, второй, ушёл навсегда. И теперь я теряю ещё и тебя. Он присмотрелся к её лицу. Отёки уже спали, глаз открылся, лицо постепенно становилось человеческим, и через былую маску проглядывала ещё более былая красота.

Он подошёл, присел рядом с кроватью. Понимаешь, сказал он, никто не знает, что ты здесь. На самом деле тебя убили в тот день. Забили до смерти. Тебя никто не узнает, никто не поймёт, что ты существуешь. Ты просто возьмёшь деньги и уедешь в другой город. И начнёшь новую жизнь. Придумаешь другое имя. Вставишь зубы. Найдёшь мужчину. Есть я или нет – неважно. Я просто проходил мимо. Точнее, прохожу сейчас, очень медленно. А потом пройду и исчезну за углом, и ты забудешь моё лицо.

Как тебя зовут, спросила она. Это неважно, сказал он. Меня давно никак не зовут. Я ведь не спрашиваю твоё имя. Почему не спрашиваешь? Оно мне неинтересно, как тебе не должно быть интересно моё. А если я скажу тебе его? Не говори. А всё-таки? Он понял внезапно, что это игра. В её глазах появился блеск. Я постараюсь его забыть. А сможешь? Смогу. Люди не умеют забывать по желанию. Я умею. Я забыл имя отца и имя матери, я забыл имя сестры и имя брата. Я забыл имя своего сына и женщины, которая родила его. Зачем ты их забыл? Потому что они мертвы. Нет, она покачала головой на подушке – и у неё получилось это движение, хотя она и поморщилась от боли. Ты путаешь причину и следствие. Не ты забыл их имена, потому что они мертвы, а они мертвы, потому что ты забыл их имена. Поэтому сейчас я скажу тебе своё имя, и ты его не забудешь никогда. Сколько бы ты ни прожил. Сколько бы ни прожила я. Обещаешь?

Он сидел подле неё и не знал правильного ответа. Может, и не было никакого правильного ответа. Говори, сказал он. Не забудешь? Нет. Точно? Да. Если я не хочу забывать, я не забуду.

Алярин, сказала она, меня зовут Алярин. Я была шлюхой с проспекта Шлюх, пока не встретила его. Он позвал меня, и я пошла за ним. Я омывала его ноги своими слезами и вытирала их своими волосами. Не ври, сказал он. Она усмехнулась уголком рта. Да, ты прав. Я просто сосала его член, вот и всё. Верю, сказал он. Извини, сказала она. Ты извини, покачал головой он. А потом он встал и вышел из комнаты. Потом вернулся, встал в дверях и повторил: Алярин. Да, я запомнил, тебя зовут Алярин. И ушёл снова.

Он пришёл к таверне, когда стемнело. Снаружи не было даже вывески, но он знал – это та самая таверна. Он забыл имя матери, но он не забыл место, где родился и вырос. Он жил здесь, на третьем этаже, и окно его комнаты выходило на помойный двор. Он помнил пьяные рожи завсегдатаев кабака, он помнил роющихся в мусоре бездомных, он помнил яркое покрывало в клетку, под которым спал, помнил, как бегал за голубями на плоской крыше дома. Но он никак не мог вспомнить тех, кто жил вместе с ним, – мать, отца, сестру, брата, не мог вспомнить их лиц, их имён. Если он забывал, то это было навсегда.

Он вошёл в кабак, тот пустовал, только за стойкой протирала стаканы дородная тётка в цветастом переднике. Он подошёл к ней и сказал: меня должны тут ждать. Она показала движением головы: туда, в заднюю комнату. Он пошёл. На третий, сказала она вслед. Он поднялся по лестнице – он помнил, как поднимался по ней ежедневно, помнил её скрипучие ступени, ничуть не изменившиеся за тридцать с лишним лет. В коридоре третьего этажа была открыта только одна дверь – та самая, в которую он входил сотни раз, и вошёл снова.

В детстве комната казалась ему больше. На деле она была крошечной, и он никак не мог понять, как они уместались в такой тесноте втроём. Внутри никого не было, и он подошёл к окну. Помойка была всё там же, внизу. В одном из контейнеров копался бездомный.

Он почувствовал движение позади и развернулся. У двери стоял среднего роста человек с бесцветными чертами лица и холодным взглядом. Приятно познакомиться, Саваоф, и человек протянул руку.

#### 4. Буря

Проводник остановился внезапно. Раньше он делал иначе – говорил: «внимание, остановка», а потом постепенно замедлялся, чтобы идущий следом Энди в него не врезался. Дело не в плохой видимости – просто, когда шагаешь много часов подряд по белой равнине, чувства притупляются. Перестаёшь замечать окружающий мир. Сперва теряешь линию горизонта, затем – землю под ногами, а потом обнаруживаешь, что нет больше ничего, даже идущих рядом людей. Бредёшь по белому мареву, будто по гигантской камере депривации. Ты можешь

думать о чём угодно – вспоминать результаты скачек, мечтать о площадных девках, ты можешь петь вслух, а можешь – закрыть глаза и заснуть, не прекращая движения.

Если кто-то перед тобой резко остановится, ты в него врежешься.

Энди толкнул Проводника, ему в спину врезался Шимон, а в Шимонову – Фил. Ещё немного, и мы бы попадали, как костяшки домино. Но Проводник устоял, и устояли все мы, идущие следом.

«Что там?» – спросил Фил.

«Буря», – ответил Проводник.

«И что делать?»

Проводник огляделся. Бесконечная белая равнина, только слева по ходу движения – едва заметное затемнение неба.

«Через бурю не пройдем, костюмы не выдержат. Нужен схрон».

«Копать?» – спросил Баба.

Я огляделся. Наст под ногами был таким плотным, что в него и на полметра не углубишься.

«Нет», – сказал Проводник.

Он осмотрелся, будто искал какой-то знак, начертанный на снегу.

«Не надо копать», – сказал он.

Потом сделал несколько шагов в сторону, остановился, замер. И ещё несколько шагов. И ещё. Свернул налево. Нагнулся, приложил к земле руку. Встал на колени. Взмахом ладони подозвал нас поближе. Мы обступили его со всех сторон.

«Барт, – сказал Проводник, – давай тепловую пушку».

Да, эта штука в моей поклаже. Она сборная, потому что это не оружие, а устройство для фокусировки тепловой энергии. В ней такой же портативный реактор, как в палатке.

Я сбросил рюкзак с плеч, и мы начали собирать пушку.

Буря приближалась – мне казалось, что я уже различаю её воронку, хотя, возможно, я просто фантазировал. Откуда мне знать, какой формы снежная буря тут, на севере, – я никогда не видел её даже на картинках. Мне представлялся кинематографический смерч, в центре которого – зияющая тишина и пятнышко голубого неба, глядящее сверху. Много лет назад мы с матерью поехали на Лагонские высоты с экскурсией. Погода стояла ужасная, и на экскурсию не явился никто, кроме нас. Но водитель был честным – и поехал даже с двумя пассажирами. Несколько раз нас чуть не снесло пустынным ветром, а когда мы остановились на заправке, в машину врезался прилетевший откуда-то мусорный бак. Но мне не было страшно. Наоборот, я ощущал воодушевление – мальчишка в центре урагана, герой, которому есть что рассказать дворовым девчонкам.

Потом ветер внезапно прекратился, и водитель остановил микроавтобус прямо на дороге. Выходите, сказал он, посмотрите вверх. Там, над нами, среди тёмного неба, среди чудовищных туч, зияло око шторма, крошечный клочок тишины и спокойствия, вклинившийся в стихию. Не было ни ветерка, ни единая травинка не шевелилась. Он смотрит на нас, сказала мать, это его зрачок.

А через неделю началась война, и путь в герои стал совсем другим.

Пушку собрали. Она была достаточно громоздкой, но её не нужно было держать горизонтально. Проводник обнял пушку, направив её дулом вниз, широко расставил ноги и нажал на активатор. Снег под пушкой начал таять.

Сперва он таял медленно, затем чуть быстрее, а под конец ухнул куда-то в пустоту – так, что Проводник чуть не свалился следом. Его придержал Баба.

«Что там?» – спросил кто-то.

«Схрон».

Нам потребовалось ещё полтора часа, чтобы протопить в насте лаз достаточной ширины. Потом мы укрепили в насте зацеп и спустились – в том же порядке, в каком шли. Я был седьмым.

Внизу нас ждала большая пещера с неровными стенками и потолком – никаких припасов, никакой мебели, ничего. Места хватало всем, ещё и оставалось. Куда-то в сторону из пещеры уходил то ли лаз, то ли коридор, широкий и высокий, выше человеческого роста. Немой вопрос повис в воздухе.

«Это олений», – сказал Проводник.

Моё восприятие перевернулось. Так происходит, когда ты находишь у воды куриного бога. Сначала тебе кажется, что это рукотворный камень, что кто-то высверлил в нём отверстие, чтобы продеть бечеву и повесить на шею. И ты начинаешь прикидывать, как он это сделал, как добился таких ровных кромок, чем сверлил, чем шлифовал.

А потом тебе говорят, что это вода. Вода сверлила этот камень в течение двух тысяч лет, полировала песком. Человек тут вовсе ни при чём. И картинка сразу меняется. Исчезает таинственный мастер-камнерез, слышится журчание ручья, и где-то там, на дне, среди прозрачных струй, осколок скалы превращается в оберег.

Я увидел отпечатки оленьих копыт на дне пещеры, оставленные на стенах рогами разводы, представил их самих – удивительных животных, способных выживать в бесконечной зиме и не знающих воды в иной, нежели снег, форме.

«Как ты узнал?» – спросил Яшка.

Проводник опустил взгляд.

«Ставьте палатку», – сказал он, и это прозвучало как ответ.

Помещение было достаточно большим, чтобы поставить палатку в стороне от нашего «колодца». Цифра предложил его запечатать, но Проводник ответил, что

не стоит. «Его всё равно запечатает бурей», – сказал он. Зацеп с верёвкой мы оставили – вдруг он переживёт бурю, проще будет подняться.

Мы разложили вещи у стен пещеры. Странно было находиться в замкнутом помещении после стольких ночёвок на снежной равнине. «Тут можно снять маску?» – спросил Баба. «Нет», – ответил Проводник. Поэтому мы всё равно набились в обогреваемую палатку.

Мы молча жевали безвкусные энергопайки.

– Когда буря дойдёт сюда? – спросил Цифра.

– Через два-три часа, – ответил Проводник.

– А где олени?

– Ушли в лабиринт. У них тут свой биоценоз. Может, они за стенкой. А может – в нескольких километрах.

Снова молчание и чавканье.

А потом Младший поднял глаза и попросил:

– Расскажи историю.

Он всегда казался мне каким-то жалким, забитым. Проводник выцепил его самым последним. Просто привёл и сказал: это Младший, он пойдёт с нами. «Привет, Младший», – сказал тогда Баба. А Младший даже не кивнул, просто сел в углу и уставился на нас, как сыч. Не от мира сего.

Хотя мы все тут не от мира сего.

– Да, расскажи, – сказал Фил. – Скучно.

Проводник смял упаковку от энергопайка, сложил в топливный пакет – все отходы сжигались в реакторе. Обвёл нас взглядом – справа налево.

– Историю, – протянул он. – Хорошо.

Кто-то всегда просил историю. Мне казалось, что Проводник их выдумывает, потому что истории не кончались. Сколько ему было лет – тридцать? Тридцать пять? Выглядел он не старше. А жизнь прожил, казалось, на всю сотню.

Он немного подумал и начал рассказ.

– В двенадцать лет я сбежал от родителей. В тот день отец позвал меня в свою комнату и рассказал, что я – приёмный. Что мои настоящие родители, видимо, были нищими и отказались от меня, потому что не смогли бы меня содержать. Отец посчитал меня достаточно взрослым, чтобы я мог понять и простить их поступок.

И я понял. И простил. Но значительно позже. Тогда же я сделал несколько шагов от его постели и закричал: ты врёшь, врёшь. Но он не врал. Он попросил меня достать из нижнего ящика комода папку с документами и показал мне свидетельство об усыновлении. Оформленное по всем правилам, настоящее. В графе «кровные родители» стояло только одно имя – Синильгэ, так звали мою настоящую мать.

Она отказалась от тебя не здесь, сказал отец, не в Виффе. Тебя привезли с севера и бросили на пороге приюта, оставив записку с твоим именем и именем матери. Мы не знали, когда ты родился, – мы просто предположили, что тебе около двух лет. И назначили твоим днём рождения случайный весенний день.

Меня возмутило, что отец не рассказал мне этого раньше. Мы ведь с ним беседовали часами – он не вставал с постели, и разговоры были одним из немногих доступных ему развлечений. Он был богат, доход ему приносили земли на юге страны, но никакие деньги не могли вернуть ему ноги. К нему приходили самые разные доктора – от научных светил до откровенных шарлатанов. Они тыкали в него иглками, заставляли пить дурнопахнущие отвары, а один даже уговорил отца на сложную хирургическую операцию, от которой остался шрам на голове. Но ноги его не работали.

Я не помню отца здоровым. Он всегда лежал. Он никогда не выходил из комнаты. Никогда не садился на кресло-каталку, пылившееся в кладовой.

И всё-таки он был хорошим отцом. Мы играли в настольные игры, обсуждали книги, смотрели кино – делали всё то, что доступно лежащему больному. Несколько раз я спрашивал, что с ним случилось, но он сразу переводил тему. Ничего не случилось, просто я очень ленив, отшучивался он.

Мать жила в другом крыле дома. Она была юркой, маленькой, смешной, похожей на птичку. Это банальное описание, но другого у меня нет – она и в самом деле напоминала то ли вьюрка, то ли пеструшку-мухоловку. К отцу она заходила редко – чтобы поцеловать его в лоб, улыбнуться, спросить что-то шёпотом. Она была добра к нему, а он – к ней. Но я никогда не чувствовал между ними никакого сексуального напряжения. Это была платоническая нежность, спокойные, как у любящих друг друга на протяжении семидесяти лет стариков, отношения. При том, что матери, когда меня взяли на воспитание, было всего двадцать шесть, и она была довольно симпатичной. Отец был старше на семнадцать лет.

Когда я понял, что документы об усыновлении подлинные, я сошёл с ума. Я орал на отца, бегал по дому и опрокинул кастрюлю с супом, которую наш повар переносил с плиты на стол. Хорошо, что никого не обварило. Потом я чуть успокоился и извинился перед отцом. И спросил у него, знает ли он хоть что-нибудь. Но он не знал. Матери не было дома, и её я расспросить не смог.

Вот тогда я и сбежал. Сознательно, даже спокойно. Пошёл к себе в комнату, сложил рюкзак и пошёл куда глаза глядят.

Проводник замолчал. Нам не хватало продолжения истории, оборванной, как казалось, сразу после завязки. А где арка персонажа, спрашивал я, где антагонист, где, в конце концов, макгаффин.

Я поднял на Проводника глаза. Все подняли. Он улыбнулся.

– Вы хотите спросить, что было дальше.

– Да, – сказал кто-то.

– Вы думаете, что история прервалась на середине. Что я расскажу о дальнейших событиях.

Я кивнул, и Баба, кажется, тоже.

– На самом деле – нет, – сказал Проводник. – Эта история может быть законченной, а может – нет. Подумайте. Почему она закончена?

Все молчали.

– И всё же? Никто не знает?

Фил протянул:

– Ну-у...

Но на большее его не хватило.

– Представьте себе, – сказал Проводник, – что я так больше и не вернулся в родной дом. Так и не увидел отца, мать. Представили?

Мы закивали.

– Значит, у этой истории нет прямого продолжения. Я так и не узнал, кто мой настоящий отец. Я не знаю, умерли ли мои приёмные родители или до сих пор здравствуют. Не знаю, что случилось с девочкой, в которую я был влюблён в двенадцать лет. Эта часть моей жизни осталась позади, пришла совершенно новая. Да, моя личная история не закончена – я продолжаю жить, думать, узнавать новое. Но история меня-в-доме-родителей закончилась, правда?

Мы молчали.

– А теперь представьте себе, что я вернулся в дом родителей через два дня, голодный и оборванный. Что это значит?

– Что история продолжается, – ответил Фил.

– Да. Каждая история может быть законченной и незаконченной, и это будет одна и та же история. Смотря что остаётся за скобками.

Проводник отхлебнул чаю из термокружки.

– А теперь... Яшка, расскажи свою историю.

– Я?

Яшка был рубахой-парнем, простым и честным. Он плохо связывал слова и порой не мог объяснить даже самой простой вещи, перемежая речь заиканием и мычанием.

– Ты. Ты можешь, я знаю.

Я улыбнулся. Почему-то мне стало смешно. Проводник этого не заметил.

– Я... Ну, я... Яшка я...

Спасибо, Яшка, мы знаем, подумал я.

– Я... э-э-э...

– Начни с реки, – подсказал Проводник. – Ты помнишь, как первый раз ловил рыбу?

Яшка смотрел вниз, на его лбу появилась складка, свидетельствующая о напряжённых раздумьях.

– Помнишь?

Я не могу объяснить, как это звучало. Проводник не требовал, не просил, он даже не спрашивал. Он как будто подталкивал Яшку, идущего в гору, уставшего, помогал ему подниматься дальше. При этом Яшка не чувствовал касания его рук – просто идти ему становилось всё легче и легче. Мне на ум пришло ещё одно сравнение – будто сначала Яшка нёс три мешка муки, а затем Проводник снял их один за другим вот этим простым «помнишь».

– Расскажи нам.

И Яшка заговорил.

– Да... помню.

Он говорил неуверенно, как безногий, внезапно обретший возможность ходить. Но с каждым словом речь его крепла, становилась плавнее.

– Я... мы с отцом вышли в море. Брат остался... остался на берегу. Он стоял и смотрел, а мы, мы ему махали. И он махал нам. А потом он пошёл домой, мать ждала. Отец забросил невод, у нас был закидной невод, не самодельный, а покупной. Отец его заказывал у кого-то. И сказал мне: ты должен почувствовать... понять, да, понять. Вот рыба, вот она идёт. Как поймёшь, тяни. И там же не одна рыба. Надо же почувствовать, как весь невод заполнится, а потом к берегу, притонить. А я совсем не умел. Чую, дёргается, говорю: отец, идёт. А он такой: нет, не идёт, жди. А ждать-то долго было, несколько минут. Мне не терпелось. Отец клал свою руку поверх моей и говорил: рано, рано. А потом: пора. И я тянул, а он правил лодку к берегу.

Яшка поднял глаза. В них стояли слёзы.

– Спасибо, Яшка, – сказал Проводник. – Ты молодец. Это хорошая история.

Я думал, что расскажу я, если Проводник спросит. Мне приходили в голову разные сюжеты – из разных времён, но в основном – из раннего детства. Вот я сажаю в банку нескольких жуков с переливчатыми крыльями и капаю на них расплавленным полиэтиленом. Несколько капель попадает мне на пальцы, я кричу и отдёргиваю руку; на месте ожога вздувается волдырь. Я не могу держать ручку, и в школе меня освобождают от письма. Я ещё долго обманываю учительницу, чтобы избавиться от диктантов.

Вот мы с другом играем в рыцарей, у меня меч и у него меч, то есть просто палки, и он говорит: давай я буду раненым рыцарем и буду типа умирать, а ты будешь пытаться меня добить, покажи, куда я ранен. И я говорю: давай в обе ноги и в руку, и он отвечает: ничего себе, ты же мне одну только руку оставил. И он лежит и отбивается от меня одной рукой – и наносит мне шесть или семь ударов, а я ему – ни одного, потому что он более сильный и ловкий, даже без руки и ног.

– Расскажи, как умер твой отец, – вдруг произносит Проводник и смотрит на меня.

Этого я не ждал. Проводник догадался, что я волнуюсь. Что я перебираю варианты.

Все молчат.

Он пережил войну. Мать и сестра не пережили, а он, израненный, контуженный, вернулся домой и занял комнату на втором этаже. Там он постепенно выздоравливал и через некоторое время снова начал курить свои сигары.

– Обычно он делал это по утрам, – сказал я. – Курил сигары. А у нас была сквозная вентиляция. Он спал наверху, а я – внизу. И когда в моей комнате начинало пахнуть сигарным дымом, это означало, что он проснулся. Я вскакивал и в пижаме бежал к нему. Открывал дверь и говорил: доброе утро, папа. А он улыбался. Курил и улыбался.

Мне было тяжело это рассказывать. Я вообще не любил воспоминания из той жизни. От них становилось зябко.

– Однажды меня разбудил запах сигары. Я понял, что отец проснулся, и пошёл наверх. Я распахнул дверь и закричал: доброе утро! Но он не улыбался мне навстречу, он продолжал лежать. Я не видел его лица – он смотрел в другую сторону. Сигару он держал между пальцев, пепел осыпался на ковёр.

Я чувствовал, что мои глаза наполняются слезами.

– Он успел зажечь сигару и умер? – спросил Проводник.

Я кивнул.

– Это лучше, чем если бы он погиб на войне.

– Не знаю, – ответил я.

Внезапно я понял, что в эмоциональном плане история о смерти отца для меня – то же самое, что история о первой рыбалке для Яшки. Просто у него самая сильная эмоция была доброй, хорошей. А у меня – злой, страшной. У него она была связана с едой, с жизнью, а у меня – со смертью. Проводник умел вытянуть из нас глубинное, и мы рассказывали ему то, что никогда бы не рассказали никому другому.

Снаружи раздался шум.

– Вот и она, – сказал Проводник.

Мы не могли удержаться. Мы натянули маски и вышли из палатки в схрон. Заметно потемнело. Из отверстия в потолке сыпался снег – медленно, чуть кружась. В свете прожектора он казался волшебным; тени снежинок плясали на стене. Это было невероятно красиво.

– Я понял, – сказал Близнец. – Понял.

– Что ты понял? – спросил Проводник.

– Зачем мы идём. Куда мы идём.

– И куда же?

– Не за Стеклом. За этим.

Он показал на стену и на тени снежинок.

– Мы идём внутрь себя. Чем дальше на север – тем глубже погружаемся. Там наше сердце.

Проводник улыбнулся. Так улыбается отец, когда сын делает какую-нибудь безвредную глупость. Он подошёл к Близнецу и положил руку ему на грудь.

– Твоё сердце по-прежнему здесь. Не там. Здесь.

Близнец смотрел выжидающе.

- Ты поймёшь, куда мы идём, Близнец. И все вы поймёте. Просто ещё рано. Это просто снег. Это просто буря. Это просто схрон, в котором мы её переживаем. Это просто олень.

Он повернулся, и мы повторили его движение. Из отверстия-коридора действительно выглядывал олень – молодой, с небольшими ещё рожками. Мне показалось, что они светились, будто были покрыты люминесцентной краской.

- Светится, - сказал Баба.

- А как ты думал, - усмехнулся Проводник. - Не у всех есть фонарики.

Проводник пошёл к оленю. Тот не прятался, будто никогда не видел людей, никогда не скрывался от охотников. Подойдя, Проводник положил руку на голову животному, и то опустилось на утрамбованный пол.

- Здесь не твоё сердце, Близнец, - сказал он. - Здесь его сердце.

## 5. Сделка

Раз, два, взяли. Раз, два, взяли.

Они тянули канат, и плот полз по озеру, медленно-медленно, так он и за полгода не приползёт, думала Алярин. Она работала вместе со всеми – руки натружены, мышцы плеч и предплечий перекачаны, не пристало женщине, но она всегда была крепкой. Другие бабы сидели на тюках и перешёптывались, смотрели на неё косо. Не впервой. Она тянула и тянула, и натирала огрубевшие ладони, и мозоли на пальцах становились твёрже, Алярин чувствовала это с каждым движением. Позади неё был мальчик, худенький совсем, хилый, он должен был пахнуть лавандой, но он ничем не пах, кроме молодости, и ей казалось, что она ощущает его запах, вжимается, всасывает его. Впереди была широкая спина большого бородатого мужика, ей хотелось дотронуться до него, чтобы убедиться, что она не железная, а настоящая, из плоти и крови; она видела пот,

но воображала, что это не пот, а машинное масло, стекающее по его стальному торсу.

Эй, ты чё, услышала она, и обернулась. Какая-то баба толкнула её. Извините, сказала она. Замечталась, задела бабу рукой. Бородатый мужик в трёх метрах от неё продолжал тянуть канат. Дура, что ли, сказала баба злобно. Алярин не ответила. Она сидела на тюках вместе с прочими и рассматривала руки – белые, тонкие, с нежными ладошками, только шрам на правой, через всё предплечье. Его сделал клиент – он хотел бить и говорил: ударь меня, ударь, и она знала: ему просто нужна причина, чтобы раззадориться. Ударь его раз, а он ответит, и ещё, и ещё, и будет бить тебя ногами, а ты свернёшься в комочек и будешь всхлипывать от боли и сплёвывать кровь. Однажды он забил девочку насмерть, четырнадцать лет, совсем ребёнок. Случайно, сказал он и заплатил Мамке так, как если бы покупал живую шлюху себе в собственность.

Но одно дело подросток, а другое – Алярин. Она его ударила, он попытался в ответ, а она увернулась и поддала ему коленом под дых. Он упал, и она приставила к его голове пистолет. Сначала он что-то вякал, а потом молча делал то, что она ему приказывала. Не мог сперва жрать своё же говно, но получил в зубы рукоятью и смог. Скажешь слово хоть одной живой душе, убью на хрен, сказала она, отпуская его – без нескольких зубов и с синяками по всему телу. Никому не сказал. Через два месяца появился и снял другую девочку, потом ещё одну – и никого не бил. А если и бил, девочки не жаловались. Присмирел, говорила Мамка, остепенился. Угу, отвечала Алярин, присмирел.

Если бы так, если бы так – конечно, он возвращался и бил снова, и Алярин получила от него ещё шрамы, и за каждый он заплатил Мамке, потому что шлюхе нужен товарный вид. Один раз Алярин держала в руках пистолет, тяжёлый, его было трудно удерживать так, чтобы целиться, и она даже выстрелила в бутылку, но промахнулась, и Пабло, который дал ей поиграть с оружием, рассмеялся.

Ну ты чё, опять вякнула баба. Алярин снова задела её рукой – теперь целясь из невидимого пистолета. Ничё, сказала Алярин и поднялась. Места было немного – посередине мужики тянули, по бокам был груз – с одной стороны ящики, с другой – тюки и бабы. Правящий сидел на корме, смотрел, чтобы не скосило. Спереди оставалось чуть места, чтобы стоять, но никто не рисковал – тряхнёт, свалишься, и засосёт под киль, пиши пропало, там же тварь. Все знают о твари – шесть лап, огромный хвост да пасть. Выскочит, и всё на этом. Она, правда, днём

спит. Только ночью выползает. Скот тягает, иногда загульного какого. Но мало ли, может, бессонница у неё, и днём появится. Бережёного кто-то там бережёт.

Раз, два, взяли. Раз, два, взяли. Ритм, как у песни, которую она слышала на рынке в Виффе, лей-лей-лей, брагу-брагу-лей.

Тряхнуло. Алярин чуть не свалилась в воду, но ухватилась за какой-то тюк и упала на колени, на палубу. Было больно. То-то, заворчала сзади одна из баб. Сядь, как все, дура, сказал кто-то из мужиков, свалишься ж, никто за тобой не ползет. Шлюха, сказал ещё кто-то. Ну да, шлюха, обернулась Алярин, да, смотри, и что? Что? Нет, не вслух, вслух – не решилась. Отползла от края, осталась сидеть на досках. До лица долетали брызги. Жопа квадратная будет, сказала баба. Алярин уставилась в пол.

Тряхнуло снова. Теперь уже сильно, как будто кто-то с разгону врубился в дно. А ну быстрее, быстрее, прикрикнул правящий. Раз, два, взяли. Мужики старались, но быстрее не получалось.

Ещё тычок, и ещё – тварь, вот она, родненькая. Все знают, что она, кто же ещё. Лапы-плавники, хвост и пасть. Тварь глотала целиком, а потом вылёвывала полурастворённые останки – так говорили фермеры. Каково это – растворяться там, внутри, сжаться в комок среди слизи и желудочного сока и превращаться в желе. Смотреть на свою оплывающую руку, видеть кости сквозь истончающуюся кожу. Алярин передёрнуло. В желудке начал расти комок. Главное – сплевать в воду, а не на палубу, а то драить заставят.

Она думала, что ничего не боится. В неё стреляли, она замерзала на северном ветру и поджаривалась в центре безводной пустыни, но там всё было прозрачно и понятно. Вот жизнь, вот смерть. Если я сорвусь, я разобьюсь. Если я усну, я превращусь в Стекло. Никакой неизвестности, никакой неопределённости – мгновенно или нет, больно или нет, у тебя нет выбора, всё будет только так, и никак иначе. Но тварь существовала в другой плоскости, и Алярин не понимала, как это может быть, хотя она не понимала и того, как это, когда в тебя стреляют, потому что она представляла себе пулю, пробивающую плоть, но никогда не была мишенью сама и не знала, каково это – быть Стеклом, возможно, не лучше и не хуже, чем внутри твари.

В эту секунду она очутилась в воде. Рука скользнула по брёвнам, и небо исчезло, превратившись в тёмную поверхность плота. Алярин сильно ударило по спине, потом по плечу, потом развернуло, нога взорвалась такой болью, что, казалось, её откусили, и Алярин увидела в размытом свечении огромную серую тень, прицепившуюся к плоту, а потом рука внезапно нащупала верёвку, и её выдернуло на поверхность, прямо позади плота, и рядом с ней, в полуметре, блестела от воды кожистая спина твари. Люди на плоту суетились, мужики бросили тянуть, все сгучились у тюков, и плот перекосило, а тварь стала забираться на противоположный край – страшная, плоскомордая, зубастая, точь-в-точь как говорили фермеры. Алярин нащупала нож – у женщины на поясе всегда должен быть нож, охотничий кинжал с зазубринами, который не режет, а рвёт, – и вбила его куда-то в плоть. Тварь взревела и отпустила плот, и на секунду морда оказалась прямо перед Алярин, и та запомнила взгляд маленьких красных глазок, а потом исчезла во тьме вместе с кинжалом, а Алярин начала тонуть в пустоте, небо помутнело, и она потеряла сознание.

Вставай давай, дура, вставай, кто-то ударил её по щеке, она открыла глаза – тот самый мужик, который сказал, что никто за ней не полезет, насквозь мокрый, видимо, он и полез. Плот качался на волнах, бабы шушукались, мужики ждали, правящий и который её вытянул сидели подле неё. Правящий поднялся. Поплыли, сказал, давай, и пошёл на своё место. Дура, ещё раз выплюнул мужик и встал к прочим. Алярин перекадилась на живот. Было холодно и больно. Саднило разодранную руку, нога мерзко ныла. Кто-то из баб подошёл, пока не поплыли, помог ей добраться до тюков, плюхнуться на спину. Ишь, разлеглась, заворчали бабы. Плот двинулся.

А где тварь, спросила она слабо. Кто, спросила баба. Тварь. Какая ишо тварь? Никакой твари нет, Алярин, слышишь, слышишь меня, Алярин, просто закрой глаза и спи, нет никакой твари. Она слушала жужжащие голоса, глаза её закрывались, и она утонула в нигде. Сквозь сомкнутые веки она видела мальчика, который склонялся над её кроватью и целовал её в лоб, и красный бархатный балдахин над его головой, и каменное небо за окном, и слышала стук молотков в мастерской напротив, и мальчик был так нежен, что она, утопая в его объятиях, на секунду забыла, что она шлюха, и эта секунда постепенно превратилась в вечность.

\* \* \*

Солнце грело лицо, и это было приятно. Не хотелось открывать глаза. Одежда высохла, лучи прикасались к рукам, и даже ушибы ныли не так сильно. В спину давил какой-то угол, но сдвинуться с места означало разрушить идиллию, и Алярин терпела, лишь бы не оказаться снова в мире, из которого она так удачно выпала.

Под ухом что-то громко звякнуло – как будто ударили по рынде, только по маленькой и у самой головы. Алярин открыла, жмурясь, правый глаз. На корточках перед ней сидел юродивый – лысый, с распущенными седыми прядями по бокам, с грязным лицом и единственным глазом, чёрным и пронзительным, как у вороны. В руках у юродивого был оркестровый треугольник на нитке и кусок стальной арматуры сантиметров в сорок длиной. Юродивый дзынькнул ещё раз.

Встава-а-а-а-ай, краса-а-а-а-авица, протянул он. Утро уж пришло-о-о-о-о, соловейчики пою-у-у-ут, пора на работку, на работку, на работку. Его заклинило, и он стал повторять это «на работку», с каждым повторением стуча по треугольнику. У Алярин начало зудеть в ушах, да ещё и солнце било в глаза, и она кое-как повернулась на бок, чтобы не видеть ни юродивого, ни его музыкального инструмента. Ногу и бок пробило болью, зато перестало давить в спину, и она поняла, где находится – на пристани, лежит на тюке метрах в десяти от воды, вокруг ходят люди, солнце светит, на неё никто не обращает внимания. Ну, кроме этого.

Отстань, сказала она. Юродивый прекратил стучать, но не отошёл, а сидел и дальше, пристально глядя на неё. Она приподнялась. Правая рука наткнулась на камень. Алярин почти без размаха запустила им в юродивого – попала прямо в лоб. Тот выпустил арматуру (треугольник оказался привязан к руке) и свалился назад, а там уже и край причала, и он ухнул в воду с криком и всплеском. Алярин тряхнула головой – юродивый как сидел, так и сидел. Она начала подниматься, опираясь на здоровую руку – вторая ныла, видимо, вывих или что-то такое. Поднялась. Нога внезапно выстрелила болью, подогнулась, и Алярин рухнула как мешок – на больную руку, плечо продрала вспышка, и Алярин показалось, что вроде как её голова неожиданно вскипела, а потом тут же охладилась до минуса. Из глаз потекли слёзы, и она заорала, неуклюже лёжа на земле. Она видела, как юродивый встаёт и уходит прочь. Падла, мог бы и помочь. «На работку», с-сука.

Хураан встретил плохо. А когда он встречал хорошо-то. Как-то пришлось в воду прыгать, когда паром ещё метрах в ста был, едва добралась. Ну хорошо, в пятидесяти. В десяти. Нет, Алярин, ты просто свалилась в воду, дура, когда он ткнулся в причал, нечего стоять на краю, чуть башку ещё о швартовочный столб не расколотила.

Теперь надо встать. Боль пронизала всё тело, но она перевернулась и села. Прислонилась к стене. Провела рукой по лицу – всё в песке и волосы тоже. Ну и чучело. Подтянула котомку – странно, юродивый не спёр, да и вообще никто не спёр, – достала хлеб, стала жевать. Запихнула горбушку в рот, достала из-за пазухи полиэтиленовый пакет. Мамка в Хураан же отравила. Могла любую отправить, а отравила – её, чуню, неуклюжую и глупую. Нет, я не такая, пыталась думать Алярин, но всё на деле понимала и не понимала только, почему её. Столько же было прочих шлюх – получше, покрасивше, поумнее, побыстрее. Ну разве что она, Алярин, из Хураана, бывала тут раз сто, каждую улицу знает, ориентируется. Ещё девчонкой плыла через то же озеро, а мать про тварь рассказывала. Но что, она единственная вообще из Хураана? Никого не нашлось? Ни чёртова посыльного? «Важные документы», говорила Мамка и объясняла, куда доставить. В Грязный район, на севере. Тут всё грязное, и Грязный район не хуже и не лучше прочих, но кто-то когда-то назвал его так, и поменять это название уже никакого шанса не было. Ты откуда? Я с Грязного.

А если она потеряет пакет? Да она уже могла сто раз его потерять. Он мог же в воде вывалиться да уплыть. Или промокнуть, дырка в целлофане, и всё – пиши пропало, расплзутся чернила, растекутся буквы, фигу получит адресат. А вдруг там что-то важное. Незнамо же. Доверила бы ей Мамка что-то настоящее?

Нет, что-то она умела. В основном с мужчинами. Стонать, когда нужно, изгибаться, как положено, скулить, если требуется. Это те навыки, которые есть у тебя, если ты больше ни хера не умеешь. Только трахаться. И то так себе – она никогда не была номером один. Просто очередная шлюха в очередном борделе.

Чего расселась, раздался суровый мужской голос. Алярин открыла глаза. Ворот был в хлебных крошках. Пакет от Мамки она держала в руке – едва не выронила.

А чё? – спросила она.

А ничё. Грузить тут будем, мешаешь. Дуй отсюда.

Алярин начала тяжело вставать. Нога болела страшно.

Чё с тобой-то?

Ударилась, буркнула она.

Давай помогу. Мужик приобнял её, поволок почти на себе. Алярин едва схватила котомку. Мужик шёл быстро, она едва успевала передвигать здоровую ногу. Ты куда меня тащишь, спросила она. Да в сад, ответил он. Она поняла – это скверик у входа в порт, крошечный. Там наркоманы всякие обычно сидят. Ну да и ладно, это лучше, чем на тюках на пристани.

Она посмотрела на его профиль – хорош, чертяка, любит она такие носы, греческие, чтобы в одну линию со лбом, и чтобы подбородок вперёд выступал полукружком, кажется, таким лицом стены пробивать, а всё-таки есть в нём какая-то красота, не отберёшь. У неё был такой однажды, пришёл, тоже матрос, и ходил две недели, каждый день, как на работу, и казался таким красивым, только на вторую неделю встал раком и сказал: трахни меня, да пожёстче, и ей было ужасно, потому что казалось: вот он, настоящий мужчина, даже со шлюхой вежлив и даже шлюху трахает, как жену, как любит – а он прощупывал, проверял, искал себе ту, которая не возьмёт, а вставит. Алярин передёрнуло, и в этот момент матрос ссадил её на скамейку.

Ну всё, сиди тут. За тобой кто прийти должен?

Не, покачала она головой, я сама по себе. Посижу и поплетусь.

Ну смотри.

И он пошёл прочь. А потом вдруг обернулся и сказал: ну если что, ты любого пацана поймай, скажи Кроху позвать, я приду, помогу, меня тут все знают. Она улыбнулась, не разжимая губ. На самом деле он ушёл, молча, конечно, Кроха, вот же имечко выдумала, дура. Жопой бы ещё назвала, чего мелочиться-то.

Алярин огляделась. Маленький садик, три скамейки, под одной – шприцы, жгуты горкой прямо, видно, тут компания забавлялась. Никто их не гоняет, никто не трогает, никто не знает, что они там в себя толкают. Ну и ладно, зато тут

хорошо и спокойно, и даже тень есть, солнце не жжёт, пот не стекает. Можно расслабиться. Она достала пакет. Нет, не пострадал, всё с ним нормально. Что же там такое внутри важное? Или, наоборот, неважное, раз её отправили? Повертела в руках. Документы какие-то, формат подходит.

И вдруг спохватилась – куда идти-то. Куда-то за Сальную улицу, во дворы, это она помнила, а больше ничего – ни номера дома, ни даже как он выглядит, хотя Мамка говорила. Синий, что ли, с белыми полосками, или нет, или это цвет её полотенца просто в общей душевой, привыкла, вот и лезет везде это сочетание, как паразит. Наверное, всё-таки жёлтый с синим. Да тут всё жёлтое с синим, это же Хураан, у них даже флаг жёлтый с синим, или нет, красный с жёлтым с синим, чёрт, или нет, запуталась окончательно, ну их, эти цвета, лучше вообще не различать. Говорят, собаки видят мир чёрно-белым, им лучше, у них клеточка, или полосочка, или точки, в них-то не запутаешься. А вот скамейка, она как будто в сеточку, это краска так причудливо облупилась, видно, по структуре дерева.

Эй, ты.

А? – она подняла голову.

Там был нарик, высокий, худой, с синими кругами под глазами, и на белой коже Алярин опять увидела своё полотенце, и усмехнулась.

Чё ржёшь.

Он говорил без интонации, не вопрос, не восклицание, не ответ, как будто слова существуют отдельно друг от друга, и он просто зачитывал словарь по алфавиту.

Ничё не ржу.

Есть?

А вот тут вдруг явный вопрос. Она поняла.

Не-а.

А чё сидишь.

Пошла уже.

Она начала вставать. Нога болела, руку саднило, внутри было мерзко. Хлеб только оставил во рту приятное послевкусие, и то хорошо. Нарик наблюдал. А потом сказал:

Стекло надо.

И было непонятно, вопрос это или нет. Хураан, южный центр Стекла. Здесь оно есть, достаточно знать правильную дверь. Откуда у тебя деньги на Стекло, мальчик, ты ж на ногах едва держишься, жуй свой насвай и не выёживайся.

Не надо.

А есть.

Я сказала – не надо.

Он потянулся к ней, недовольный чем-то. То ли тем, что она сидела в садике, где всегда сидел он, то ли тем, что она не хотела его Стекло. Она отбила руку и толкнула его назад – он оказался лёгким как пушинка, сел, плюхнулся на скамейку, ощерил рот. Она сделала шаг вперёд и вдруг поняла, что в самом деле его толкнула, без всяких фантазий, по-настоящему, не сжалась в комок, а наконец нашла кого-то слабее себя, и он ей поддался.

Пожалеешь, сказал он, не вставая.

Она похромала прочь, на ходу натягивая лямки. Куда-то за Сальную улицу же, да? Идти вроде недалече, но по путаным переулкам; с детства она их помнила, но они порядком поменялись. Где-то была трещина в стене, она девчонкой шла мимо неё, и проводила по ней пальцем, и знала эту трещину наизусть – а теперь её уже не было, вроде та же улочка, но всё свежebelеное, аккуратное, только измазаться можно, если плечом по стенке протереться. А там вон жил кот, огромный, рыжий, смотрел на неё каждое утро и вяло мылся шершавым языком; когда его почему-то не было, она скучала и даже завела веру: есть кот – день

сложится, нет кота – всё повалится. А кота... а кота теперь не было совсем. Умер, наверное, много лет назад, столько не живут. Значит, не только день, но и вся жизнь будет неудачной. А свалить вину можно будет на кота.

Она улыбнулась. Покойный кот поднял настроение.

Направо, теперь налево. Слышен шум – это ревёт Ангердо, местный проспект Шлюх, улица героев. Проспект утыкается в огромный памятник Отцу-основателю, могучему бородатому мужу без имени и племени. Он стоит, сложив руки на груди, но голова его упала, подбородок опущен – то ли он в глубокой задумчивости, то ли в глубокой скорби. Когда она была маленькой, они с пацанами как-то сидели под памятником, а напротив гуляла мамаша с мелким в коляске, и вдруг раздался скрежет, и от Отца отвалился кусок – прямо из локтя выпал и полетел вниз. Алярин рванулась и оттянула коляску, кусок шлёпнулся между мамашей и младенцем, поднял пыль, обдал их страхом. Мамаша выхватила у Алярин ребёнка и побежала прочь, ни «спасибо», ни «до свиданья».

Нет, нет, какой младенец, что вы, эта выщербина на локте появилась ещё до рождения Алярин, ничего не падало, а если и падало, никому не повредило.

А потом Ангердо облюбовали сутенёры, и выросли публичные дома, и Алярин, уличная девчонка, попрошайка, познала в стенах одного из них своего первого мужчину. Слава богу, она потеряла сознание и не помнила подробностей.

Раздалось шарканье. Алярин обернулась и увидела давнишнего нарика. Он плёлся за ней, тяжело передвигая ноги. Юнец совсем, подумала она. И вправду, ему едва ли двадцать было, но в глазах читалась псилоцибиновая вечность.

Чего тебе?

Не было в ней зла, только недоумение. Он пожал плечами.

Иду.

Куда идёшь?

Иду.

Мысли мелькали: он быстро не может, рвануть через проулок и выйти на Ангердо, а там всегда толпа, затеряется за полминуты.

А он вдруг сказал:

Направо тебе.

Куда?

Направо. Ты это, на проспект собралась, а там запутаешься, и всё. Давно ж не была. А тебе вон туда. И там синий дом будет. Справа тоже.

Ты кто? – спросила она.

Он пожал плечами, мол, ну, кто-то.

Чисто синий? Не сине-белый?

Чисто синий.

Она сделала шаг навстречу, он отступил.

Тока это, не бей больше, сказал он.

Не буду, прошептала она так, что он не услышал. Развернулась и пошла в улочку. Обернулась чуть позже – он стоял, за ней не шёл. Видно, сделал, что сказано. Направил. Выходит, в порту её ждал почётный эскорт. Ну, каков гость, такова и встреча.

Она шла переулком и понимала, что всё здесь знакомое, что та самая трещина – вот же, вот же здесь она была, под этим самым окном, а в окне росла герань, и да, герань тут есть по-прежнему, кто её теперь поливает, та же старушка или кто другой? Выбоина на углу, сюда попал молот кузнеца, как там бишь его звали, он бросал в жену, но жена увернулась, и попал в дом, и выбил камень; жену он позже забил до смерти, но уже не здесь, перебрались они в другой район, похуже, и там уже.

А какого цвета был её собственный дом? Может, синий? Она не могла вспомнить. Он стоял дальше по улице, в ряду прочих. Замокнутый дворик с деревом посередине, и коты, коты, десятки котов, которых прикармливала мама. А потом мамы не стало, и пришли люди в чёрных халатах. Они выгнали из дома всех – её, и бабушку, и старика (тоже не вспомнить, как его звали), а котов всех пораспугали. Собственность мехозота, сказали они, а против мехозота не попрёшь. Она стояла на улице, сжимая в руках то, что удалось впопыхах собрать, и смотрела, как здоровые лбы выносят на улицу кровать, где зачали её и где должна была зачать своего ребёнка она. Ей было восемь лет. До Ангердо оставалось ещё четыре.

Кровать не могла развернуться в узком переулке. Её наклоняли, но она всё равно застревала частично в дверях дома, частично снаружи, и чёрные приволокли топор, чтобы разрубить её на части. Пока один ходил за топором, прочие дурачились: один лёг на кровать и начал изображать спящую жену, а второй искусно пародировал мужа, возжелавшего женского тела. Это было смешно, и Алярин улыбнулась, а потом сама же испугалась своей улыбки. Где её сожаление, куда делось её горе? Она ударила кулачком по стене, чтобы заплакать, хотя бы от боли, но больно не было, было почему-то противно, точно её заставили пить чьи-то сопли. Фу-у-у, поморщилась Алярин – и тогдашняя, и нынешняя.

Вот же он, старый добрый дом. Алярин остановилась. Дверь, через которую она проходила сотни раз, а кровать не смогла пройти ни разу (внутри её, видимо, заносили в разобранном состоянии). Стена напротив. Над забором виднеется дерево, растущее во внутреннем дворе. Он был одноцветным тогда, белым. И теперь он одноцветный – синий.

Заходи, раздался голос. Нарик стоял в нескольких метрах от неё. Как у него получалось идти за ней неслышно? Алярин подумала, что нарик – это не эскорт и не кортеж, а всего лишь синематографический титр, призванный объяснить то, что оператор не смог поймать в кадр. Она шагнула внутрь. Ей казалось, что дверь выше, но пришлось пригнуть голову – детские впечатления обманчивы. Она оказалась в предбаннике. Прямо был ход в дом, направо – в сад.

Проходи, проходи, раздалось сзади.

Она почувствовала, что её ждут в саду.

Дерево, и прежде раскидистое, выросло ещё, теперь крона накрывала весь сад уютной тенью. Она не помнила название дерева. В саду стоял круглый столик, на нём – чайник и две чашки. На одном из стульев сидел мужчина лет тридцати, худой, флегматичный, с длинными волосами, стянутыми в хвост. Поодаль стоял ещё один, постарше, лысоватый, с картонной папкой под мышкой.

Садись, сказал сидящий.

Алярин неуверенно сделала несколько шагов.

Садись же.

У него был добрый голос. Алярин знала: он ни за что не причинит ей вреда. Чувствовала.

Спасибо, Младший.

Он кивнул кому-то позади, видимо, наверху. Алярин не стала оборачиваться.

Привезла? – спросил он.

Она неуклюже достала из-за пазухи пакет. Он повертел его в руках. Достал из складок одежды перочинный ножик, аккуратно взрезал полиэтилен, затем картон. Извлёк три листика, скреплённых зажимом. Стал читать.

Дочитав, спросил:

Ты знаешь, что это?

Она покачала головой.

Он улыбнулся.

Я так и знал.

Он помедлил, закусил нижнюю губу.

Читать умеешь?

Да.

Читай.

Она взяла. Гербовая бумага, прямо-таки документ, не хухры-мухры. Договор о купле-продаже имущества. Оговоренная сумма, сроки передачи, только непонятно, что продают и кто кому продаёт. Имена незнакомые. Продавец – женщина, покупатель – мужчина.

Масса имущества, приблизительные параметры имущества.

Характер имущества.

Внезапно Алярин поняла. Она подняла глаза, и сидящий кивнул. Да, это о тебе.

Меня продают?

Уже продали. Ты доставляла мою копию документов. И, собственно, себя.

Алярин не знала, что сказать. Даже её фантазия не хотела включаться, хотя было самое время – представить себе, как она хватает со стола чайник и разбивает его о голову покупателя, потом бросает чашку во второго мужчину и бежит прочь. Но фантазия говорила: нет, нет, теперь – только реальность. И Алярин стояла молча, хлопала глазами и не понимала, что делать дальше. Мужчина мягко вынул документ из её ослабевших пальцев.

Не бойся, сказал он. Я купил тебя не для того, чтобы унижать или бить. Мне не нужна рабыня. Я купил тебя для того, чтобы ты стала свободной. Чтобы ты могла вернуться туда, откуда пришла. И ты вернулась.

Он развёл руками. Она оглянулась. Тот самый двор, то самое дерево, тот самый дом. Всё, как двадцать лет назад, и кажется, что мама сейчас выглянет из окна и крикнет: Аль, иди кушать. Она вернулась. Мужчина улыбался, и в его улыбке была настоящая доброта – не механическая доброта Мамки, которая продала её

при первой возможности, а доброта человека, который мог бы быть её отцом, не будь он её ровесником.

Она действительно вернулась. И она разрыдалась. Слезы текли по щекам, из носа тоже текло, и человек подал ей платок. Она высморкалась.

Что... что тебе от меня нужно, сказала она неразборчиво – слёзы мешали говорить.

Мне нужен твой талант, создательница миров, сказал человек.

## 6. Кто под нами

– Они не знают, что мы здесь, и вряд ли узнают, – говорил Проводник. – Никакого контакта с поверхностью до самой весны, а воздух проходит через фильтры. Они нас не увидят, не услышат, не почуют. А когда выйдут наружу, снег уже уничтожит все следы. Для них здесь ничего нет, кроме смерти.

– А для нас? – спросил Близнец.

Проводник грустно улыбнулся.

– Для нас тоже. Разница только в том, что они хотят жить, а мы – нет.

– На них может кто-то напасть. Разрыть сверху, добраться. Неужели им вообще неинтересно, что наверху?

– Кто нападёт? Медведь? Здесь ничего живого. Вообще. Только снег и Стекло. Звери ушли на юг или закопались. Люди тут не живут. Кроме них.

– Мы.

– Возьми лопату и копай. Или тепловую пушку. Я не буду тебе мешать.

Близнец задумался.

– Наши костюмы стоят состояние. Таким, как мы, не нужно барахло аборигенов. Наша цель дальше.

Да, наша цель была дальше. Двадцать дневных переходов? Тридцать? Проводник всегда уходил от ответа. Сколько-то. Скорее всего, не хотел нас обнадёживать, назвав слишком маленькое число, или пугать, обозначив слишком большое. Неведение безопаснее.

Мы пришли к стану несколько часов назад. Догадаться о том, что прямо сейчас здесь, под нами, живут люди, было невозможно. Просто несколько снежных холмов, которые вполне могли возникнуть естественным путём. Под слоем твёрдого, как бетон, снега прятались рукотворные сооружения – камеры, где хранились продукты, требующие глубокой заморозки, склады оружия, которое использовалось только летом, шлюзы. Когда наступало тепло, рассказывал Проводник, разведчик выходил наружу через шлюз и шёл на север, чтобы выяснить, насколько далеко добралась весна. Если ситуация его устраивала, он возвращался и «оттаивал» поселение, выпуская остальных. Если нет, дожидался правильного времени. Иногда разведчик погибал, и тогда поселение открывали изнутри, дождавшись обозначенной в календаре даты гарантированной оттепели.

Меня пугало присутствие людей. Они были всего в двадцати метрах от нас, рукой подать – и при этом совершенно недоступны. Представьте себе: вы ползёте по безводной пустыне, умирая от жажды. И вдруг натываетесь на бивуак кочевников. Вы спасены – вас кладут в тень, отпаивают, приводят в чувство и лишь потом выясняют, друг вы или враг, нужно ли вас отпустить, взять с собой или порубить на куски, скормив пустынным тварям.

Здесь же другой сценарий. Вы ползёте по белой пустыне, умирая от холода, и приходите к поселению. На этом всё заканчивается – жители деревни никогда не узнают о вашем существовании. Разве что по весне найдут новую стеклянную фигуру. Ну да им не впервой. Не вы первый, не вы последний. Вы умрёте в двадцати метрах от еды и тепла. Или в тридцати. Впрочем, неважно.

Ещё я пытался осознать, каково это – семь месяцев в году жить под землёй без всякого контакта с внешним миром и не имея возможности выйти. Мне,

выросшему под южным солнцем, это было не просто непонятно. Я не мог это принять, не мог в это поверить; мне казалось, что слова Проводника – его очередная притча, и никаких людей тут нет, это не более чем искажённая легенда о народе, жившем тут тысячу лет назад и не оставившем после себя ничего, кроме волшебной сказки. Мой разум заставлял сердце поверить, что это правда, но сердце упорно сопротивлялось. Такого не бывает, Барт, говорило оно, он врёт, это какая-то чушь.

Но это была не чушь.

– Откуда ты про них знаешь? – спросил Близнец.

Кто-то усмехнулся. Энди едва слышно цыкнул на Близнеца, мол, задрал уже. Проводник отозвался.

– Я мог бы сказать: «Я всё знаю», и это был бы правдивый ответ. Но он бы тебе не понравился, правда?

Близнец покачал головой. Проводник сделал паузу.

– Я бывал в таком поселении. Давным-давно. Не думаю, что здесь что-то поменялось. Время здесь превратилось в Стекло, ничего не происходит уже много десятков лет. Или сотен.

Когда он успел? Он выглядел лет на тридцать, и, более того, я заглянул в его кенкарту, когда он проходил границу между османами и Северной землёй, и я стоял в очереди на контроль прямо за ним. Двадцать девять. И за эти двадцать девять лет он побывал на юге и на севере, ходил на кораблях и ездил на верблюдах, сменил десятки городов и стран, не говоря уж о профессиях. Всё это находилось примерно посередине между божественной сущностью и наглой ложью, и я не мог точно сказать, к какой из крайностей ближе находился Проводник.

– Сколько тебе лет? – спросил Близнец. Кажется, он снял этот вопрос сразу с нескольких языков.

– Я не знаю, – ответил Проводник.

– Как не знаешь?

Я подумал: наконец-то. Есть хоть что-то, чего ты не знаешь.

– Ты думаешь, я вру. Или хочу скрыть свой возраст, или ещё что-то такое. Но нет. Это не так. Я действительно не знаю.

Он покопался во внутренней поясной сумке (внешняя была снаружи костюма, внутренняя – под ним) и достал ту самую кенкарту – современную, цифровую. Подобные были у тех, кому по какой-либо причине постоянно приходилось проходить идентификацию, например у заядлых путешественников. Карта считывала данные непосредственно с привязанного к ней человека, безошибочно определяя пол, возраст, расовую принадлежность и ещё ряд параметров. Её нельзя было подделать.

– Давайте проверим одну вещь. Энди, у тебя под рукой блокнот. Вырви листок и раздели на двенадцать частей.

Энди послушно достал блокнот. Рвал он аккуратно, старательно: перегибал каждый листок сперва в одну, затем в другую сторону, затем разделял по линии. Это было медленно, но все молчали. Наконец он закончил.

– Теперь пусть каждый возьмёт себе по кусочку бумаги. А потом я дам вам кенкарту, и каждый из вас посчитает, сколько мне лет. Потом напишет на бумажке число и бросит листок вот сюда.

Он выдвинул в центр пустую чашку.

– Давайте, ну же.

Энди оставил себе одну полоску и пустил остальное по кругу – каждый взял по обрывку.

– Карандаш переходящий, – добавил он и помахал последним.

Пока кенкарта ползла по рукам, все молчали. Каждый писал число на бумажке и передавал документы и карандаш. Проводник то ли улыбался, то ли нет – я не

всегда мог распознать это его выражение лица, производящее впечатление в равной мере скорбного и иронического. Оно означало, что он точно знает результат, но хочет, чтобы мы пришли к последнему самостоятельно. Схожее выражение можно встретить на лице университетского преподавателя математики, предлагающего студентам доказать давно известную теорему.

В чашке собралось двенадцать бумажек, и Проводник внезапно протянул её мне.

– Читай, Барт.

Конечно, он знал, что я видел его кенкарту раньше. И продемонстрировал это.

– Двадцать восемь.

Сначала мне показалось, что это моя бумажка. Почерк похож, и восьмёрка сливается с девяткой. Но нет.

– Тридцать шесть.

А вот это было неожиданно. Я чуть не поперхнулся слюной. Следующий листок я доставал уже с некоторым беспокойством.

– Двадцать семь. Тридцать. Тридцать один.

– Как? – спросил Близнец.

Проводник не ответил.

– Двадцать пять. Тридцать четыре. Пятьдесят семь.

– Кажется, кто-то не умеет считать, – усмехнулся Проводник.

– Нет, тридцать семь, – поправился я. – Пятёрка похожа на тройку.

– Я не про это.

Да, он про другое. На всех бумажках были разные числа. Близкие – от двадцати пяти до тридцати семи. Но разные. Ни одного повторения. Двенадцать человек прочли в кенкарте Проводника разные годы рождения.

Свой листок я достал последним.

– Тридцать два, – прочёл я.

– Уже тридцать три, – отозвался Проводник. – Сегодня исполнилось.

Если верить кенкарте, которую видел я, день рождения у него был в июле.

– Или тридцать пять. Месяц назад стукнуло, – продолжил он. – Как вам удобнее.

– Как? – снова спросил Близнец.

– Стекло – это не просто странная штука, с помощью которой можно превратить врага в ледяную статую. И не наркотик, которым ширяются богатые идиоты. Стекло умеет больше.

– Менять записи в кенкарте? – спросил Баба.

Такой вопрос мог задать только он. Но Проводник почему-то отнёсся к вопросу серьёзно.

– Да, Баба. Именно так. Менять записи в кенкарте.

В его голосе не читалось иронии.

Он поднялся.

– Надо выходить.

Некоторое время мы собирались, толкаясь в тесном пространстве, натягивали верхние части костюмов, прилаживали дыхательные системы. Первым справился Фил – он как-то с первого дня приноровился к костюму, как ко второй коже.

Иногда я думал, что, когда мы вернёмся на юг, Фил по-прежнему будет ходить в костюме – просто потому что ему в нём комфортно независимо от внешних обстоятельств.

«Барт, слышишь меня?» – спросил Близнец.

«Да».

«Ты не боишься?»

«Чего?»

«Его. Не в смысле, что он ошибся. А в смысле, что он прав».

Близнец тоже это чувствовал. Думаю, все это чувствовали, даже Баба. Мы не боялись смерти. За плечами у нас были тюремные камеры и даже смертные приговоры, разбитые сердца и сломанные жизни, наши руки были в крови и грязи. Такие, как мы, ничего не боятся, потому что ничего не имеют. Человек боится только потерять – себя, родных, имущество. А если ты стоишь у последней черты, страх уходит.

Мы боялись, что Проводник прав. Что где-то там, за бураном и бесконечным белым, теплится надежда на что-то новое. Мы боялись обрести то, из-за чего снова станем бояться потерь.

Один за другим мы выходили из палатки. Проводник по обыкновению был последним. Братья начали сворачивать лагерь – они действовали как единое целое, как правая и левая рука, чувствуя намерения друг друга. Спальные места мы убрали раньше – ещё до того, как забрались в столовую, чтобы дождаться дня. Если это можно назвать днём.

Наконец мы выстроились в колонну. Обычно свёрнутую столовую несли двое, подобно носилкам, но сегодня её взгромоздили на спину Бабы. Он сам вызвался – не знаю почему. Но мне стало хуже – огромная масса столовой маячила у меня перед самым носом и постоянно норовила задеть меня, столкнуться с тропы. Баба и без того был довольно неуклюж, теперь же его неуклюжесть представляла настоящую опасность. По меньшей мере, мне так казалось.

Через полчаса мерной ходьбы Проводник сказал:

«Справа».

Да, он был тут – ещё один стеклянный человек. Стоял в красивой позе, подобно памятнику, вытянув руку вперёд по направлению движения.

«Указатель?» – спросил кто-то.

«Да. Они уходят в зиму. Строят вокруг себя что-то вроде снежного постамента, который удерживает их в определённой позе. Наступает ночь. Они замерзают, становятся Стеклом, а снег позже сметает ветром».

Присмотревшись, я понял, что положение стеклянного человека неестественно. Его указывающая в белое рука лежала на невидимой подпорке, а палец был чуть согнут, то есть он тоже некогда покоился на снежном ложе, разрушенном дневными ветрами. Человек стоял на полусогнутых – без подпорки вы так долго не простояте, устанут мышцы.

«Это не самоубийство, а необходимость. Без них нельзя пройти дальше. Они тщательно рассчитывают место смерти, чтобы служить ориентирами другим и не перекрывать зону действия другого ориентира».

«Как они чувствуют, что надо уходить?»

«Ты тоже это почувствуешь».

Даже по радиосвязи я понял, что сейчас написано на лице Проводника. То самое выражение иронии, смешанной со скорбью.

Когда мы отошли от указателя на приличное расстояние, Шимон спросил:

«Куда они указывают?»

«На север. Какое-то время нам будет удобно идти по ним».

«Но компас точнее».

«Компас не гарантирует, что там можно пройти. А они – могут».

Путь продолжался в молчании. Каждый думал о своём. Чтобы скоротать время, я начал перечислять победителей Большой гонки – соревнования упряжек, ежегодно проходившего под Виффой. Я помнил их наизусть, от первого до последнего, да и вообще помнил почти все результаты Больших гонок за семьдесят лет, и мне нравилось перебирать в голове имена и даты. Это ни к чему не вело, ни к чему не обязывало и расслабляло. Иногда я играл в другие игры – перечислял известные мне названия городов на букву А, составлял короткие слова из более длинных, возводил в квадрат или куб шестизначные числа (на последнюю игру уходило больше всего времени, и я никогда не был уверен в правильности результата).

«Они всё ещё под нами», – вдруг сказал Проводник.

«Кто?»

«Местные. Их тоннели тянутся на сотни метров. Если бы они хотели, они бы выдолбили подземный путь до самого стеклянного дерева. Времени у них достаточно. Но они не хотят».

«Почему?»

«Потому что человек не может жить без весны».

Я представил себе, как подо мной идёт кто-то ещё. Там, внизу, под непробиваемым снегом, под вечной мерзлотой, по волшебному гроту. Например, маленький мальчик. Он держит в руках игрушечное копье и пытается поймать другого маленького мальчика, играющего роль предателя. Дети всегда играют в войнушку. Это инстинкт. Даже если ребёнок растёт в стерильном обществе и ни разу не слышал о войне, он придёт к этой идее самостоятельно. Найдёт оружие и замахнётся на товарища. Так устроен человек.

Интересно, что за спиной у Бабы? Почему он здесь? Он кого-то убил? Ограбил? Бежал из тюрьмы? Огромная туша, практически лишённая мозга. Почему он –

один из двенадцати? А Младший? Ему же лет двадцать от силы, как его угораздило пойти с Проводником? Зачем Проводник взял его с собой?

Нет ответа. Я знаю о тех, кто идёт вместе со мной, столько же, сколько о воображаемых детях из подлёдных галерей. И ещё меньше я знаю о том, за кем иду.

«Стекло пришло не сразу, – сказал Проводник. – Когда-то тут были города из бетона и стали. Потом те, кто ходил на север, перестали возвращаться. Стекло подбиралось всё ближе к городам, и это длилось много лет. Учёные изучали границу, исследовали воздух, анализировали почву, но ничего не могли сделать. Никто не мог зайти дальше Стекла – аэропланы и цеппелины падали, суда теряли управление и уходили в вечный дрейф, любая техника замерзала и становилась бесполезной. И люди стали уходить на юг. Уезжали семьями, родами, поселениями. Туда, куда Стекло пока не добралось. Но некоторые оставались. Они полагали просто: Стекло не остановится. Лучше держать оборону, чем бежать туда, где всё равно будет невозможно жить через десять, двадцать, тридцать лет.

И они научились. Они выстроили подземные города, продумали системы обогрева и хранения запасов. Но со временем началась деградация: машины выходили из строя, технологии превращались в легенды, цивилизация теряла своё лицо. Самыми сильными оказались те, кто привык жить в таких условиях. Кто разводил оленей и никогда не видел фруктов и овощей. Кто имел привычку к трупному яду и мог есть ферментированное мясо, годами вылеживавшееся в мерзлоте. Кто умел согреться обычным огнём, а не с помощью отопительных систем. Привычный мир сдвигался на юг, а север дичал.

Никто не ждал, что Стекло остановится. Появились границы – большая, за которой Стекла нет ни зимой, ни летом, и малая, за которой Стекло есть только зимой. Мы идём между двух границ, а они живут здесь. Но за большую границу не заходит никто. Там, за ней, неизвестность, белая тьма и корень Стекла. То, что породило Стекло, его источник».

Проводник замолчал. Многие из нас уже слышали эту проповедь. Многие просто знали историю – без всякого Проводника. Но он повторял её вновь и вновь, раз в несколько дней, чтобы напомнить: у нас есть цель. Мы идём не в бесконечное никуда. Мы идём к конкретной точке. Он даже показывал нам расчёты – линии сходились в одном месте, примерно в ста пятидесяти километрах за малой

границей.

«А ты знаешь, что там?» – спросил Шимон.

Шимон редко задавал вопросы, потому что знал все ответы не хуже Проводника. Он спрашивал тихо, не при всех, чтобы потом толковать слова Проводника в частных разговорах. Подлиза, подпевала, думали мы.

«Не знаю», – ответил Проводник.

Мы ждали продолжения, но его не было. Мы просто молча шли вперёд.

Я думал о том, почему его называли Проводником. Меня с ним познакомил Фил, который сразу сказал: «Это Проводник», – и я не стал задавать вопросов. Позже я узнал имя, записанное в кенкарте Проводника. Оно мне ничего не сказала, и я никому не говорил о своём знании. Впрочем, оно потеряло смысл, когда Проводник пустил свою кенкарту по рукам.

Фила с Проводником познакомил Яшка, того – Болтун, того – Шимон. Я спросил у Шимона, который сказал сакральное «Это Проводник» Болтуну, но тот молчал. Шимон строил из себя если не второго Проводника, то как минимум его незаменимого помощника, правую руку. Конечно, это было самовнушение. Проводнику никто не был нужен. Никто из нас.

Ему была нужна только Алярин. Такая же, как он, способная прикоснуться к Стеклу. Она не читала проповедей, не говорила загадками, она была простой и даже в какой-то мере глупой. Но он боготворил её в той мере, в какой он вообще был способен кого-то боготворить. Он не ступал без неё ни шагу, он постоянно шептал что-то ей на ухо, и она отвечала, она была его тенью. И, конечно, все знали, что она поедет с нами.

Но она не поехала. Костюмов было только тринадцать, и среди них ни одного женского. Он всегда знал, что она останется в Хураане, что будет идти с ним лишь до дворовых ворот, а потом коснётся его руки и отойдёт в сторону, чтобы отпустить навсегда. Чувствовал ли он что-нибудь в тот момент? Возможно, да. Возможно, в нём всё-таки сражались два человека – тот, который должен был идти в Стекло, и тот, который не мог покинуть свою женщину. Снаружи этого не было видно: он просто улыбнулся в момент прикосновения, а потом повернулся и

исчез навсегда. Он оставил её на милость Ка, на милость обожателей и ненавистников, и мы не знали, что с ней было дальше. А он наверняка знал.

«Всё, привал», – сказал Проводник.

Мы шли шесть часов – бывало и больше, бывало и меньше.

Было ясно для северного вечера, и равнина просматривалась довольно далеко. Неподдалёку виднелся очередной стеклянный человек – за эти шесть часов мы видели их штук десять, даже привыкли. В десяти метрах от указателя из наста торчала палка, довольно толстая. Даже скорее небольшое бревно. Проводник подошёл к нему, обнял и дёрнул на себя. Не поддалось.

«Помогите».

Шимон, Болтун и Яшка скучились рядом, стали толкать и тянуть. Что-то закрипело, сдвинулось – и настовая площадка провалилась в никуда. Под снегом был уводящий вниз ход.

«Это их схрон. Переночуем в нём. Только по уходе надо будет тщательно закрыть, чтобы по весне им мог воспользоваться разведчик».

Мы спустились. Несколько деревянных ступеней и небольшая дверь, похоже композитная. Изначальная герметизация давно рассыпалась, по бокам дверь была законопачена первобытными методами – смолой, мхом, каким-то странным тягучим веществом, напоминающим жевательную резинку. Проводник взрезал всё это ножом и рывком открыл дверь. За ней была ещё одна.

«Тут шлюз, – сказал он. – Допускать попадание нефильтрованного воздуха внутрь нельзя. Поэтому входить будем по трое. После каждой тройки надо герметизировать внешнюю дверь, хотя бы условно. Первые – со мной».

Я ждал своей очереди снаружи. Это было долго – мы входили около сорока минут. Проще было бы разложить палатку-столовую. По крайней мере, я так думал сначала. Но, оказавшись наконец внутри, передумал.

Это была просторная комната, раза в три больше нашей столовой. Тут были две лежанки, несколько лавок и камин. Когда я вошёл, он уже горел. Около камина стоял мешок топливных пеллетов.

«Снимайте, можно».

Тепло от настоящего огня не сравнить ни с чем. Никакая цивилизация, никакое отопление не сумело превзойти это чудо природы, это волшебное ощущение. Даже сидя в третьем ряду, я чувствовал эти всполохи и исходящий от них жар – настоящий, живой, что особенно удивительно среди снежной пустыни.

Мы сидели и молчали. Никто не просил Проводника рассказать очередную притчу, прочесть проповедь, поделиться мудростью. Огонь был важнее любого человека.

К моему удивлению, Проводник устроился не у самого пламени, а, наоборот, в дальнем конце комнаты, куда тепло практически не доходило, оседая на наших осоловевших лицах. Я обернулся, чтобы посмотреть на него, а он сделал мне знак: подойди. Мне не хотелось уходить от огня, я и так сидел далековато, но я послушался.

Я сел рядом. Он наклонился ко мне.

– У тебя есть вопрос, Барт.

Я кивнул.

– Задай его.

– Я не знаю какой.

И в самом деле, у меня была тысяча вопросов. Миллион вопросов.

– Почему ты не взял Алярин?

– Да, – усмехнулся он. – Этот вопрос у тебя тоже есть.

Он помолчал.

– Алярин очень важна для меня, – сказал он наконец. – Но в таких предприятиях, как это, нет места личному. Мы должны дойти. И дойти в согласии. А если бы я взял её с собой, вы бы ревновали.

– Никто бы не посмел тебе перечить.

– Не посмел бы. Но я не имею в виду ревность ко мне. Я имею в виду ревность к ней.

– Я тоже.

Мы помолчали.

– Есть ещё причина, – сказал я.

Мне показалось, что во взгляде Проводника мелькнуло удивление. Некоторое время он молчал.

– Ты прав. Ты знаешь, если когда-либо кого-либо любил.

Я любил. Это было так давно, что казалось неправдой, но да – я любил и был любим.

– Назови её.

Внезапно я почувствовал себя мудрее него. Это казалось невозможным, но да – он не поймал момента, когда многозначительное молчание перестало работать. Какое-то время он молчал, но потом прошептал едва слышно:

– Я боюсь.

– Если ты боишься, – сказал я, – то какого чёрта ты вообще пошёл?

Проводник помедлил.

– Я не знаю, – ответил он.

За сегодняшний день я слышал от него эту фразу чаще, чем за всё время нашего знакомства.

## 7. Ка

Аз есмь Ка, Хранитель спокойствия. Имя моё начертано на древних машинах, мне тысяча лет, и тысячу лет я оберегаю мир от Хаоса. Тысячу лет я стою на страже невидимой двери, тысячу лет бьются в неё змеи и прочие гады, тысячу лет я твёрже камня, прочнее стали, горячее огня, холоднее льда. Нет никого за мной и передо мной, я един и одинок, я всемогущ и безгрешен, я вышел из коацервата и останусь последним до Большого разрыва, я – основа жизни и её же предел.

И сегодня я расскажу вам историю. Историю о том, как Хаос пытался проникнуть в наш мир через человека. Как он поглотил его душу, и вырвал сердце, и заполнил его изнутри, и начал вытекать наружу, изменяя ход времён и ломая пространство. Сегодня я расскажу вам о том, чего нельзя предотвратить, но можно исправить, и о том, что нельзя исправить, но можно предотвратить. Я направлю вас, я покажу вам единственно верный путь, который приведёт вас к истине.

Глупец, пытающийся заполнить Великую Впадину с помощью обычной лопаты, вызывает лишь смех и презрение. Но не потому, что орудует лопатой, а потому, что никто не сможет совершить подобное даже с армией бульдозеров. Он пытается совершить невозможное, и все, кроме него, понимают, что это невозможно. Мы смотрим на него как на изгоя, выродка, чужого.

Но суть в том, что таковы все мы. Мы ничем не отличаемся от него. Много лет назад я красил стены своего дома новой краской, которую рекламировали как быстросохнущую, водостойкую и сохраняющую яркость на протяжении многих лет. Конечно, ничего подобного не было и в помине: она сохла неделю, а облезла меньше чем за год. Но кто виноват? Производитель краски? Или я, не прочитавший инструкцию и решивший делать всё по собственному усмотрению,

без шпатлівки и вирівнювання поверхностей?

Кінець ознакомительного фрагмента.

----

Купити: [https://tellnovel.me/skorenko\\_tim/steklo](https://tellnovel.me/skorenko_tim/steklo)

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)